ЗАПИСКИ НАРОДНОГО СУДЬИ СЕМЕНА БУЗЫКИНА

МОИ ОТКРОВЕНИЯ

(Вместо предисловия)

Поселок Узор раньше являлся районным центром. В первый раз я приехал в Узор осенью 1948 года. Впрочем, начну по порядку. Желали этого мои папа с мамой, или не желали, или это было просто случайно, но я все-таки появился на свет и выжил. А когда стал судьей, то познал, что не всегда родители желают, чтобы дети рождались.

До семи лет я ходил без штанов и считался чудо-ребенком. Но когда мне сшили штаны, а через плечо повесили сумку с букварем, то родители вдруг увидали, что их чадо не такое уж и чудо. А когда я натянул батькины брюки, они, махнув рукой, сказали: «Поскорей бы его в армию взяли да дурь выбили». Наконец, с помощью ротного старшины я влез в тиковые солдатские штаны, и из меня начали выбивать дурь. Долго и старательно, словно пыль из тюфяка, выбивали из меня эту дурь, потом торжественно объявили, что теперь я могу с гордостью носить синие диагоналевые с малиновым кантом офицерские шаровары.

Как ни близоруко было начальство, но и оно в конце концов разобралось, что хотя дури-то во мне несколько поубавилось, зато ума не прибавилось. И вот в синих диагоналевых шароварах меня выпустили на «гражданку». Два года я щеголял в них, мечтая о шевиотовых брюках. Кем я только не был: и счетоводом-контролером, агентом, воспитателем, артистом, затейником, торговал гвоздями, ловил камсу, морил клопов и травил крыс, но нигде не проявил таланта и не заработал на новые брюки. За это время мои диагоналевые штаны отшлифовались до совершенного лоска и ветер в них разгуливал, как в осеннем шалаше... И тогда-то меня осенило: «А не пойти ли мне

PHOTOS BY ANDREY G AKA DONUT190

ЗАКОЛОЧЕННЫЙ ДОМ

Глава первая

МОЛОДЧИНА

В паспортном столе городской милиции значится, что гражданин Овсов Василий Ильич появился в П*** в тридцатых годах, что он происхождения из крестьян-середняков, семейный и служит в артели «Разнопром». Другие данные о нем пока милицию не интересовали, да и незачем: Овсов не пьет, квартплату вносит аккуратно, с жильцами не судится. Наоборот, в доме, где он проживает почти двадцать лет, не только не причинил никому зла, но даже не сделал ничего такого, в чем бы можно было его упрекнуть.

— Золото Овсов! Сколько живем здесь — и ничего плохого от него не видели. Незаметный он человек,— говорили про Василия Ильича.

Василий Ильич мог незаметно где-либо появиться и еще незаметнее исчезнуть. Все, казалось, было пропитано в Овсове незаметностью: и поведение его, и наружность, и даже праздничный костюм. Если бы у жены Овсова спросили: «А какой у Василия Ильича нос?» — она бы, махнув рукой, сказала: «А я что-то и не помню. Нос как нос».

Как и когда появился в артели Овсов, также не заметили. Однажды председатель артели с технорукомзаглянув в проходную, увидели Василия Ильича.

— Кто ты? — спросил председатель.

— Вахтер.

Председатель взглянул на технорука. Тот пожал плечами.

Позвали сторожа. Тот посмотрел на Василия Ильича, потом на начальство и ухмыльнулся:

— Эва, так это ж Овсов. Вахтер наш. Вместе нанялись. Лет уж семь как. — Для уверенности сторож пересчитал пальцы. — Да, пожалуй, семь будет. А то и все восемь наберется.

— Петух... Почему петух? — спросил Петр и взглянул на часы. Полночь. Петр усмехнулся, поправил фуражку и пошел домой.

Луна бесцеремонно заглядывала в окна лукашан. Ее мутно-белый свет, казалось, заморозил землю. Словно схваченная инеем, блестела трава. Вода в реке остановилась и тоже побелела, как будто ее сковало льдом. Мрачно взирал на освещенный луною мир чей-то старый заколоченный дом. Он был темен и глух. Петр остановился и погрозил ему кирпичом.

— Расколотим и тебя! Слышишь ты, расколотим!

ЗАПИСКИ НАРОДНОГО СУДЬИ СЕМЕНА БУЗЫКИНА

МОИ ОТКРОВЕНИЯ

(Вместо предисловия)

оселок Узор раньше являлся районным центром. В первый раз я приехал в Узор осенью 1948 года. Впрочем, начну по порядку. Желали этого мои папа с мамой, или не желали, или это было просто случайно, но я все-таки появился на свет и выжил. А когда стал судьей, то познал, что не всегда родители желают, чтобы дети рождались.

До семи лет я ходил без штанов и считался чудо-ребенком. Но когда мне сшили штаны, а через плечо повесили сумку с букварем, то родители вдруг увидали, что их чадо не такое уж и чудо. А когда я натянул батькины брюки, они, махнув рукой, сказали: «Поскорей бы его в армию взяли да дурь выбили». Наконец, с помощью ротного старшины я влез в тиковые солдатские штаны, и из меня начали выбивать дурь. Долго и старательно, словно пыль из тюфяка, выбивали из меня эту дурь, потом торжественно объявили, что теперь я могу с гордостью носить синие диагоналевые с малиновым кантом офицерские шаровары.

Как ни близоруко было начальство, но и оно в конце концов разобралось, что хотя дури-то во мне несколько поубавилось, зато ума не прибавилось. И вот в синих диагоналевых шароварах меня выпустили на «гражданку». Два года я щеголял в них, мечтая о шевиотовых брюках. Кем я только не был: и счетоводом-контролером, агентом, воспитателем, артистом, затейником, торговал гвоздями, ловил камсу, морил клопов и травил крыс, но нигде не проявил таланта и не заработал на новые брюки. За это время мои диагоналевые штаны отшлифовались до совершенного лоска и ветер в них разгуливал, как в осеннем шалаше... И тогда-то меня осенило: «А не пойти ли мне

в юристы». И я пошел, и долго шел, и не был легок мой путь, но все-таки я дошел.

На мне добротные суконные брюки, но я надеюсь сменить их на габардиновые.

КАК МЕНЯ ВЫБИРАЛИ

Неужели я кандидат в народные судьи?! Даже не верится. Вторую неделю живу в Узоре, разъезжаю по району и знакомлюсь со своими избирателями. После шумного суетливого города мне положительно повезло. Меня пугали, что Узор — глубокая яма. Луж и канав много, но ямы я не видал; наверное, ее нарочно засыпали к моему приезду. Почему я так думаю? Потому что меня все здесь любят, уважают и, кажется, радуются, что я у них буду судьей. Все смотрят на меня с улыбкой и величают Семеном Кузьмичом.

Вчера какой-то незнакомый седенький старичок до слез меня растрогал. Я шел из столовой, а он мне навстречу. Снял шапку, низко поклонился, долго стоял без шапки и все смотрел мне вслед. Мне было как-то неудобно и в то же время жутко приятно.

Мне все здесь нравится, все: домики маленькие, аккуратные и вечером в них приветливо, заманчиво горят огни. Представляю себе, как там тепло и уютно. Я живу в «гостинице», там тесновато, но клопы не тревожат и белье чистое. Правда, когда прямо с улицы зайдешь в свой двенадцатикоечный номер, тяжеленько смердит. Но я ловко научился принюхиваться. Надо зажать нос и дышать ртом часто, часто, потом потихоньку ло очереди отпускать ноздри.

А какой здесь народ! Я объездил почти все колхозы, и везде меня с почетом встречали, хвалили, говорили, какой я умный, образованный, преданный сын... Откуда это они все про меня знают? Они же в первый раз меня видят. Удивительно прозорливые и умные в Узоре люди.

Первый секретарь райкома лично сам пригласил меня в свой кабинет и как с равным серьезно, по-деловому полчаса беседовал о трудностях и задачах, стоящих перед нами на данном этапе, и о том, что предстоит сделать, чтобы вытащить район из отстающих в передовые, и какая роль отводится в этом важном деле народному суду.

Я заметил, что суд ни от кого не зависит и подчиняется только закону. Первый секретарь сказал: «Правильно. Но

нельзя забывать также об основной руководящей и направляющей силе партии». Я сказал, что это очень хорошо знаю и помню, потому что по основам марксизма в юридической школе у меня были круглые пятерки. Это очень обрадовало секретаря, и он пообещал назначить меня руководителем кружка в каком-нибудь отдаленном колхозе. Я поблагодарил за доверие, а сам про себя подумал: «Черт меня дернул за язык хвастаться пятерками». В общем, первый секретарь умный и добрый человек. Мы расстались друзьями, дав друг другу слово работать в тесном контакте.

Однако есть и такие, повторяю, таких очень мало, что смотрят на меня прищуренным глазом... Вот, например, председатель райисполкома. Человек он, конечно, положительный, но уж слишком прямолинеен и резок. Когда я пришел к нему и представился, он долго и пытливо разглядывал меня, словно заморскую диковину, и, наглядевшись вдоволь, ехидно спросил:

— А зачем усы? Для солидности? Сбрей. Не усы, а какая-то грязь под носом.

Я молчал, а он, не стесняясь, говорил обидные слова, да еще жалел меня при этом.

— Молод ты еще, ох как молод. Жаль мне тебя. Потому хочу дать три напутственные заповеди. Они слишком примитивны, но если ты за них будешь держаться, то, может быть, просидишь свои три года до следующих выборов. Первая заповедь — не бери взяток, вторая — не залезай в государственный карман и третья — не лапай девок, с которыми будешь работать.

Это уже было слишком. Разве я не знал моральный кодекс судьи? Но я не в силах был вымолвить ни слова и сидел, опустив голову, униженный и побитый. Председатель райисполкома, Сергей Яковлевич, подошел ко мне, взлохматил мои волосы.

— То, что я тебе сказал, пусть останется между нами. Никому ни слова. Понял? Никому... А если тебе потребуется от меня помощь, помогу.

С какой благодарностью я пожал его цепкую и жесткую, как щепка, руку. Так искренно и крепко я еще никому в жизни не пожимал. Я думаю, что порядочность в человеке даже ценнее доброты...

Инструктору райкома Ольге Андреевне Чекулаевой, вероятно, лет двадцать пять. Она высока, осаниста, остра на язык и даже красива. Но с ее сильной ловкой фигурой

и зычным голосом ну никак не вяжется тонкое, нежное лицо хрупкой белокурой девушки. И чем меньше я стараюсь на нее смотреть, тем больше она насмехается надо мной и язвит. Я все терплю. А что мне остается делать? От нее зависит моя судьба. Я отдан ей в руки на весь период предвыборной кампании. Она возит меня по району на показ избирателям и расхваливает. А когда остаемся мы с ней с глазу на глаз, говорит мне, что я кот в мешке...

Сегодня была моя последняя встреча с избирателями льнозавода. Как и все предыдущие, она прошла в теплой дружеской обстановке, если не считать одного маленького недоразумения.

Собрание шло серьезно, по-деловому, все выступающие говорили про меня правильно и хорошо, а одна старушка даже перестаралась. Ее никто не просил выступать, она сама вылезла к трибуне и заявила жалобным голоском:

— Давайте выберем его в судьи. Парнишка он молоденький. Жить ему тоже хочется.— И заплакала, а все, кто был в зале, покатились со смеху. Одна только не смеялась Ольга Андреевна. Положив мне на плечо руку, она сказала, чтобы я не волновался, потому как старушка выжила из ума. А я и не волновался, мне стало очень грустно.

Вот я сижу, пишу, вижу эту плачущую старушку и думаю: «Эх, Семен, Семен, зачем?..»

Я избран почти единогласно. Против меня был всего лишь один голос. И скажу вам по секрету — этот голос мой!

КАК Я СЛУШАЛ ПЕРВОЕ ДЕЛО

Итак, я — народный судья. С нарочитой ленивой солидностью и взволнованный до холодного пота, сажусь за длинный с зеленым сукном стол слушать первое дело. По бокам усаживаются мои заседатели. Солидно кашляю и глухим утробным голосом объявляю, что слушается дело по иску гражданина Сухореброва к гражданину Семенову о возврате собаки. С трудом отрываю глаза от серой лапки. Прямо передо мной сидит плотный, черный, косматый, как цыган, ответчик Семенов и, зажав коленями, держит черненькую с белыми лапками лайку. Человек и собака не отрываясь смотрят на меня. Только глаза у человека какие-то ошалелые, а у собаки — веселые.

— Истец Сухоребров здесь? — спрашиваю я.

На последней скамье подпрыгивает маленький в новом дубленом полушубке мужичок и, как рыба глотнув воздух, торопливо шпарит:

— Моя собака, гражданин судья. Ей-богу, моя. Кого хошь в деревне спроси, моя.

— Погодите, — останавливаю его. — Вы поддерживаете иск?

Сухоребров ежится и удивленно раскрывает рот.

— Поддерживаете вы иск? — повторяю вопрос, обязательный по процессуальному кодексу.

Сухоребров молчит, и вид у него жалостный, испуганный. Бедняга не понимает, что такое поддерживать иск. А когда я ему объясняю, что это есть то же самое, что требовать возвращения собаки, он обрадованно кивает головой.

— Моя собака. Ей-богу, моя. Кого хошь спроси в деревне.

— Семенов, признаете иск? — обращаюсь к ответчику.

Семенов неуклюже встает и, глядя из-под нависших бровей, сипит:

— Брешет он, гражданин судья. Собака моя. У цыган купил за двести целковых.

Вызываю к столу свидетелей, беру с них подписку об ответственности за ложные показания, для пущей объективности удаляю их из зала в холодные сени и начинаю следствие.

С первого же дня я убеждаюсь, что в суде даже разумный человек внезапно глупеет, теряет способность понимать и думать.

Допрашиваю Сухореброва. Он удивительный болтун и бестолочь.

Слова сыплет, как горох из мешка. Долго роюсь в этой бессмысленной словесной каше и, наконец, выясняю, что три года назад у Сухореброва была собачонка, по его выражению, «тютелька в тютельку, как эта лайка», а потом пропала. Сухоребров о ней, конечно, никогда бы и не вспомнил, собака ему была совершенно не нужна. Когда соседский мальчонка Васятка Морозов сказал ему, что видел эту собачонку в деревне Рыдалиха у охотника Нила Семенова, Сухоребров, махнув рукой, сказал: «А на кой лях она мне нужна. Только хлеб даром жрет». Потом до Сухореброва дошел слух, что эта собачонка оказалась счастливой добытчицей. Только за один год Нил добыл с ней несметное количество белок, куниц и перебил всех

глухарей в округе. Эта весть, как ножом, полоснула сердце Сухореброва, и он решил во что бы то ни стало отобрать у Нила Семенова свою собаку.

Из ответчика Семенова выжать ничего невозможно, на все вопросы он отвечает одним словом «брешуть». У его ног, завернув кренделем хвост и навострив уши, лежит «удачливая добытчица» и, зевая, повизгивает. Спрашиваю охотника, правда ли, что собака необыкновенная добытчица, он, ухмыляясь, мотает головой:

— Да брешуть, гражданин судья.

Это меня настораживает. В ответе Семенова я улавливаю недобросовестность. Мелькает мысль, что, вероятно, цыгане стащили собаку у Сухореброва и продали ее Семенову. Я ухватываюсь за эту версию и пытаюсь выяснить, где и когда была куплена Семеновым лайка. Но это мне оказывается не под силу. Ответчик твердит одно и то же: «Брешуть». А Сухоребров внезапно все забывает, даже кличку своей собаки.

Допрос же свидетелей окончательно все запутал. Их показания были противоречивы и нелепы. А несовершеннолетний свидетель Васятка Морозов насмешил меня, растрогал, вогнал в пот. Мне представлялся Васятка озорным веснушчатым курносым мальчонкой. И я был очень удивлен, когда около стола появился белобрысый верзила в огромной лохматой шапке из заячьей шкурки.

— А шапку-то надо перед судом снимать, — заметил я.

Васька стащил с головы шапку, подержал в одной руке, потом в другой, спрятал за спину.

— Сколько же вам лет?

Васька мгновенно нахлобучил шапку на голову, но, опомнившись, опять поспешно стащил ее, зажал в руках и растерянно замигал. Я повторил вопрос. Васька уронил свою шапку, торопливо схватил и спрятал за спину. Я понял, что все внимание у свидетеля сосредоточено на шапке, она мешает ему не только думать, но даже малодушно соображать. Я приказал Ваське положить шапку на скамейку. Но это не помогло. Без шапки он совсем растерялся и, растопырив руки, как затравленный зверек смотрел на меня ошалелыми от страха глазами.

— Василий Морозов, сколько вам лет, — в третий раз спросил я.

Васька глотнул воздух и выпалил:

— Не знаю... — и, испугавшись своего голоса, густо покраснел и поддернул ладонью нос.

— Как же ты не знаешь, сколько тебе лет?

Теперь у Васьки покраснели шея и уши, и он, набычившись, буркнул:

— Сколько нам лет, не знаю. А мне шашнадцатый.

Я понял, что говорить с Васькой на «вы» — только зря терять время.

— Ты знаешь эту собаку?

Свидетель радостно кивнул головой.

— Чья же она?

— Дяди Петина.

— Какого?

— Да вот этого, — и Васька ткнул пальцем в сторону Сухореброва.

— Почему ты так утверждаешь?

— Не знаю.

— Фу ты, черт возьми, — пробормотал я и почувствовал, что меня начинает трясти, но сдержал себя и спросил как можно мягче:

— Вы раньше видали ее у Сухореброва?

— Видали.

— Кто видали?

— Да я.

— Так и говори, что видал, — процедил я сквозь зубы, злясь не столько на свидетеля, сколько на себя, на свои вопросы, на свое неумение вести допрос.

— Когда ты ее видел?

— Давно, — ответил Васька и от себя добавил: — Я тогда еще с ней играл.

Это проливало кое-какой свет, и я обеими руками ухватился за наивное Васькино признание.

— Как же ты с ней играл?

Васька широко и глупо заулыбался.

— Положу на спину, и давай брюхо щекотать, а она визжит и кусается.

— А как звали собаку?

— Альма.

С таким же вопросом я обратился к ответчику.

— Брешет он, гражданин судья. Пальмой кличут мою собаку, — ответил Семенов.

Я опять принялся пытать Ваську.

— Как же пропала у Сухореброва собака?

— Волки сожрали.

— Откуда ты знаешь?

— Да дядя Петя сказывал.

То, что собаку Сухореброва волки сожрали, подтвердили все свидетели.

— А может быть ее цыгане увели, а потом продали Семенову? — осторожно спросил я Ваську.

Он охотно подтвердил мою версию, сказав, что цыгане ужасные воры и хапают все, что попадет под руку.

Теперь оставалось выяснить, чья же в конце концов собака у ответчика.

— Вася, — спросил я, указывая на лайку, которая, сощурив глаза и высунув язык, лежала под лавкой. — Это та собака или не та?

Васька пристально посмотрел на лайку и пожал плечами.

— Кажись, та.

— Ты говори прямо, та или не та, — строго приказал я.

Васька опять посмотрел на собаку и опустил голову.

— Не знаю.

— Почему? Ведь ты же играл с ней?

Васька молчал.

— Отвечай, какие были особые приметы у дяди Петиной собаки?

Васька молчал, как глухонемой.

— Отвечай, что было у собаки, с которой ты играл? — сквозь зубы процедил я.

— Хвост, — прошептал Васька.

— Хвост есть у всех собак. Ты мне назови особые приметы, которые бы отличали один индивидуум от другого. Ну, что еще было у той собаки?

Васька каким-то чужим голосом выдавил:

— Уши.

Свидетель меня не понимал: мы разговаривали с ним на разных языках. Я почувствовал свое полное бессилие и не знал, что делать. К счастью, выручили заседатели. Они просто и легко объяснили Ваське, чего я от него добиваюсь. Он бойко, без запинки пересчитал по пальцам все приметы украденной собаки. Они совпали, как уверял Сухоребров, «тютелька в тютельку» с приметами лайки, кроме одной. Васька уверял, что на груди у той собаки Альмы была белая полоска. Семенов поднял собаку лайку за передние лапы и показал суду собачий живот с белым пятном.

— Замарал полоску, ей-богу, замарал, гражданин судья, — закричал Сухоребров, — прикажите потереть собаке грудь.

Семенов поплевал на ладонь и принялся ожесточенно терть лайке живот. Она отчаянно царапалась, визжала и лаяла.

Сухоребров дело проигрывал, но не сдавался и потребовал проделать фокус. Он отошел к двери и стал подзывать к себе собачонку. И она подошла, потерлась о его валенки и покорно уселась у ног.

— Пальма, стерва, подь сюда, — дико закричал Семенов, и собака стремглав бросилась к нему, подпрыгнув, лизнула его волосатое лицо и радостно залаяла.

— Вот дрянь, — зло подумал я и спросил Сухореброва: — Вы охотник?

— Никак нет, гражданин судья. Мы больше рыбешкой балуемся.

— Так зачем же тебе охотничья собака. Она же тебе совершенно не нужна.

— Знамо дело, не нужна,— согласился Сухоребров.

— Зачем же тогда эту судебную канитель завел?

— Как зачем? — изумился Сухоребров.— Собака — моя.

Суд отказал в иске Сухореброву, сославшись на то, что нет доказательств, что лайка раньше принадлежала ему.

Когда я разъяснял решение суда, Сухоребров согласно кивал головой и поддакивал: «Так, так, понятно, гражданин судья»,— а потом спросил, как быть теперь с его собакой. Сейчас ее отдаст ему Семенов или он заберет у него с милиционером. Я сказал ему резко и категорически, что собака Семенова, а он на нее никаких прав не имеет. Сухоребров швырнул шапку на пол и пригрозил, что пойдет выше, до Москвы, а животину свою все равно отсудит, и стал настойчиво просить, чтобы, пока он будет ходить по судам, отобрать у Семенова собаку и наложить на нее арест, чтоб тот ее не продал или нарочно бы не испортил. Требование Сухореброва было законно, но я не знал, как его удовлетворить. Позвонил начальнику милиции и попросил помочь мне наложить на лайку арест. Начальник милиции заявил, что у него для арестованных собак нет камер, и посоветовал оставить временно собаку у хозяина под сохранную расписку, до вступления решения суда в законную силу. Но Сухоребров и слушать не захотел о расписке. Этот коротконогий мужичонка, сбросив маску простачка, проявил такую энергию, упорство и знание законов, что я растерялся. Передо мной стоял хитрющий, махровый сутяга, который способен на любую пакость, и я трусливо пошел ему на уступки. Я предложил

истцу с ответчиком найти человека, которому бы они на время доверили на сохранность собаку.

Я ушел к себе в кабинет, закрылся на ключ. Меня бил озноб, болела голова и тошнило. Подмывало желание плюнуть на все это и бежать отсюда, не оглядываясь. В дверь постучали. Я открыл и опять увидел их вместе с собакой. Они ввалились в мой кабинет и заявили, что пока они будут тягаться, то решили на это время оставить собаку у меня, как у самого надежного в районе человека. Я не знал, что мне делать, плакать или смеяться, впрочем, мне было все равно, и я, устало махнув рукой, согласился. И они ушли, оставив мне лайку.

Она вела себя спокойно: зевала и изредка потихоньку повизгивала, а потом начала скулить. Я отдал Пальме свой ужин: ломоть хлеба с маслом. Она понюхала, отошла к двери и залаяла. Я попытался ее успокоить, но она, подлая, оскалилась... Я распахнул дверь и выгнал Пальму в сени. Через пятнадцать минут Пальма начала драть ногтями дверь и сотрясать дом оглушительным лаем. Лай я еще, скрипя зубами, терпел, но когда она протяжно завыла, мне стало жутко.

Около печки на гвозде висела веревка, на которой уборщица носила дрова. Я схватил веревку и, дрожа от страха, открыл дверь в сени. Пальма с яростным визгом бросилась ко мне и уткнулась носом в колени. Я торопливо привязал к ее ошейнику веревку, выволок собаку на улицу и привязал к забору. Закрыв дверь на железный засов, я лег на диван, с головой накрылся шубой и затеребил пальцами уши. «Довольно, — сказал я себе решительно, — утром отправлю собаку с милиционером к ее хозяину».

Однако моему благоразумному намерению не суждено было свершиться. Меня разбудил визгливый голос уборщицы Маноны. Она выскребала железной лопатой смерзшийся собачий помет и отчаянно ругалась. Я вспомнил о собаке, быстро оделся, выбежал на улицу... и нашел у забора одну лишь веревку с оборванным концом. Все уверяют, что это дело волков. Ничего нет удивительного, волки здесь до того обнаглели, что по ночам приволья разгуливают по поселку. Я же над этим не задумываюсь. Не все ли равно, кто увел собаку: волки ли, человек ли, а может быть, она сама убежала, отвечать-то теперь за все придется мне.

УЗОРСКИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ

...Начальник милиции капитан Фалалеев Фалалей Фалалеевич — личность незаурядная. Он высок, тяжеловат, широкоскул; у него татарское лицо и добрейшая русская душа. Получить образование ему не удалось, и на образованных, культурных людей он смотрит с благоговением, страшно им завидует и становится совершенно беспомощным в их обществе. Мне довелось вместе с ним и прокурором праздновать Новый год в компании врачей. Он боялся, как бы не сконфузиться в интеллигентном обществе, и всю ночь до утра просидел за столом красный, потный, совершенно трезвый и голодный. К преступному люду Фалалеев относился с добродушной грубостью и зверски ненавидел воров с хулиганами. В юридических вопросах Фалалей Фалалеевич разбирался не хуже нас, ученых юристов. Как работник, он цены не имеет. В районе не было случая, чтобы преступление прошло не раскрытым. И в этом в первую очередь заслуга Фалалеева.

Однажды в праздники на окраине глухой деревушки был найден убитый моряк, прибывший в соседнее село на побывку. Рядом с ним валялось три березовых кола. И никаких других доказательств. По подозрению взяли из деревни трех парней, которые гуляли вместе с моряком. Но они начисто отрицали свою причастность к убийству. Следствие вела прокуратура. Были опрошены жители не только этой деревни, но и всех окрестных сел, и ничего, кроме акта судебно-медицинской экспертизы, подтверждающей, что убийство было совершено при помощи наделенных березовых кольев, она более прибавить к делу не смогла.

Прокурору грозил жесточайший нагоняй. Совершенно подавленный, он пришел к Фалалееву и пригласил меня посоветоваться, что делать. Мы поговорили, поспорили и решили, что дело на языке юристов «глухое» и ничего не остается делать, как сдать его в архив, а задержанных ребят выпустить. Прокурор тяжко вздохнул, согласился и с ненавистью сунул дело в серой папке в портфель. Мы уже с ним вышли на улицу, когда нас окликнул дежурный милиционер и попросил вернуться. Мы вернулись. Фалалеев стоял посреди своего кабинета, таинственно улыбался, скреб затылок.

— А что ты мне пообещаешь, прокурор, если я этого «глухого» на твоих глазах расколю? Сейчас мы прове-

нем один фокус: авось клюнет, — капитан загадочно улыбнулся и принялся «раскалывать» дело.

Он накатал валиком на пальцы черную краску, взял три чистых листа бумаги и на каждом сделал по жирному оттиску. Потом вызвал дежурного милиционера, приказал ему принести в кабинет «арестованные» колья и доставить одного из парней.

Милиционер ввел жилистого, с острым носом, с виду лет семнадцати подростка. Несмотря на тяжесть преступления, в котором его подозревали, держал он себя дерзко, самоуверенно и сразу же заявил прокурору претензию.

— Прокурор, на каком основании ты меня закатал в этот клоповник?

— За убийство, — обрезал его капитан.

— Чего это? А где доказательства? Меня не напугаешь. Законы тоже знаем, выпускай немедля, а то протестовать зачну, — сказал подросток, лихо плюнув на пол.

Фалалеев, держа за спиной лист бумаги с оттисками собственных пальцев, вплотную подошел к подростку.

— Ты хочешь иметь доказательства? Так вот они!

Тот смотрел на бумагу и прямо на наших глазах серел и старился.

— Что, узнаешь свои пальчики? Свеженькие, с этих колышков сняты, — ласково и нежно пояснил капитан.

— Сволочи вы все, — прошептал преступник и горько заплакал.

Фалалеев дал ему выплакаться, а потом спокойно приказал:

— А теперь колись до конца... Подай инструмент, которым ты орудовал.

И он подал Фалалееву увесистую с толстым концом палку.

— А остальные чьи, Садиков? — живо спросил прокурор.

— Ничьи, я их нарочно подбросил, — угрюмо сказал Садиков и сел без разрешения на стул.

— Зна́чит, один убил?

Садиков вместо ответа опустил голову.

— А за что же ты его убил? — поинтересовался я.

Садиков поднял на меня прозрачные, как стекло, глаза.

— А так... ни за что... за потаскуху Паску Косоглазую. Хотел на ней жениться, а она спуталась с этим... — он длинно и матерно обложил убитого матроса.

Когда преступника увели, капитан хитро подмигнул мне.

— Видал, судья, как работает милиция!

На редкость интересный человек этот капитан Фалалеев. Милиция давно ему надоела, но держался он за нее обеими руками. У Фалалеева куча ребятишек, двое стариков и жена — мать-героиня. От родов и постоянной беспричинной ревности она высохла и пожелтела как соломина. В минуты лирического настроения Фалалеев мечтает о должности начальника тюрьмы или его помощника...

— Засяду я за каменные стены, — говорит он в таких случаях, улыбаясь, — закроюсь на все сто запоров и собак спущу. Вот тогда пусть она попробует меня взять. — Под словом «она» капитан имеет в виду свою «половину», которую он не терпит, и оттого почти круглые сутки сидит в милиции, работает по вечерам, играет с дежурными в шашки, здесь же иногда ночует.

При случае Фалалей Фалалеевич заходит ко мне, как он выражается, «покалякать» с «энтеллектуальным» человеком. И я охотно «калякаю» с ним и о политике, и о литературе, и даже о музыке. Особенно Фалалеев любит разговоры на юридические темы... Он не моргнув глазом и не раскрыв рта способен часами слушать про Анатолия Федоровича Кони и до слез смеяться над выкрутасами адвоката Плевако.

— Ах, тот Плевакин... — бормочет он и, вздохнув, грустно добавляет: — Завидую вам, «интеллектуальным». Все-то вы знаете.

Когда я предложил ему почитать книгу о знаменитых юристах, то он наотрез отказался, заявив:

— Чтобы читать книги, надо иметь лошадиную память, а у меня после контузии в голове ветер гудет.

Наши задушевные беседы, как правило, заканчивались жалобами Фалалеева на свою собачью жизнь и мечтами о привольной и спокойной жизни...

В поселке ходят упорные слухи, что капитана Фалалеева собираются куда-то перевести. Очень жаль, если это случится. Фалалеев опытный работник, и перевод его — слишком дорогая для района потеря.

Совсем иное дело мой адвокат. Есть люди, о которых многого не скажешь. А о моем адвокате вообще нечего сказать. Бог знает, как его занесло в юристы. Он наделен природой такими чертами характера, которые совершенно не нужны адвокату. Единственно, что в какой-то степени соответствует его должности, это его фамилия — красивая

и звонкая — Илларион Парамонович Санжеровский. Во всем же остальном он безлик, бесцветен, как полевая мышь.

В канцелярии суда около печки его рабочее место: стол, стул и чернильница. Каждый день ровно в десять он является на службу с огромным, весом в полпуда, портфелем. Положив на стол портфель, адвокат принимается разматывать свой желтый шарф. Этот шарф знаменит своими невероятными размерами и выносливостью. Зимой и летом он бессменно висит на шее адвоката, как хомут. В районе когда-то адвоката так и звали Хомутом. Эта кличка с течением времени видоизменялась и совершенствовалась, пока не обрела совершенно новое нелепое звучание — Халтун. Так его все зовут, в глаза и за глаза. Смотав с шеи шарф, адвокат аккуратно складывает его и как вожжи вешает на гвоздь. Потом, зябко съежившись, долго трет руки, все равно — будь в канцелярии собачий холод или же невыносимая жара. После этого Халтун садится за стол и начинает готовиться к приему клиентуры. Разгружает свой портфель, в котором уместилась вся наличная юридическая литература (кстати, пользоваться этим богатством Халтун до сих пор не научился).

Разложив по стопкам законы, указы, постановления, Халтун кладет перед собой чистый лист бумаги, берет в руки карандаш и замирает. Сидит он час, другой, третий — никого. На измятом старостью, с маленькими скользкими глазами лице адвоката ни смущения, ни волнения: оно спокойно и равнодушно. Он давно знает, что, сиди он хоть сто часов подряд не вылезая, к нему все равно никто не придет. Халтун на редкость безавторитетный адвокат.

Первое время я старался помогать ему. Всех, кто обращался ко мне по всем юридическим вопросам, я отсылал к адвокату Санжеровскому. И меня всегда спрашивали: «А кто это такой?» Узнав, отчаянно махали руками: «Нет, нет, только не к Халтуну».

В процессах он выступает лишь в тех случаях, когда сам суд назначает защиту, которая обычно в таких случаях нужна подсудимому не больше, чем мертвому свищовые примочки. Говорит он солидно, как и подобает человеку его положения, но слова подбирает тяжелые, вычурные и с таким трудом, словно вытаскивает их из потайного кармана, и речь свою он всегда заканчивает так: «Прошу суд снизить меру наказания моему подзащитно-

му: независимо от того, виновен ли подсудимый или не виновен». Все остальное время он сидит у печки за своим столом. И когда кончится срок моего здешнего судейства, он все равно будет сидеть, придет другой, и того пересидит, как пересидел всех судей до меня.

Поэтом надо родиться. Магунов Виктор Андреевич родился прокурором. Он старше меня всего лишь на три года, а выглядит гораздо старше. Высокий, полный, рыхлый, с холодным скучным лицом и очками вместо глаз, он невольно вызывает и страх, и уважение. Магунов строг, но не зол, по-своему добр, но доброта эта скорее пугает, чем радует, справедлив, но только в той мере, как сам закон. Он ни на кого не жмет, но все чувствуют тяжесть его руки.

Прокурор, как и все смертные, наделен и добродетелями и слабостями, но скрывает их так умело и ловко, что простым глазом не заметишь. А самое главное – Магунов умен, чертовски упрям и настойчив. Я уверен, он добьется высокого положения, по крайней мере должность областного прокурора ему обеспечена.

Одно время мы дружили, правда, недолго, а потом разошлись, чтобы навсегда стать непримиримыми врагами.

Кажется, это было на третий день после выборов. Я тогда очень много, упорно работал: дни и ночи просиживал за столом, подготавливая дела к слушанию. Изучая к предстоящему процессу одно спорное дело, я обнаружил, что протокол об окончании следствия не был подписан обвиняемым. Нарушение это было чисто формальным, но оно давало мне повод прямо без судебного разбирательства направить дело прокурору на доследование.

Я решил на первых порах не портить отношений с прокурором, которого еще не знал. Взяв дело под мышку, я отправился в прокуратуру исправить ошибку, да и заодно познакомиться с Магуновым. Секретарь доложила о моем приходе, и тотчас я был принят. Когда я вошел в кабинет, Магунов стоя разговаривал по телефону. Видимо, разговор для него был очень важный и обнадеживающий. Он, растягивая в улыбке рот, повторял одни и те же слова: «Благодарю, слушаюсь, спасибо». Не отрывая от уха трубки, он широким жестом разрешил мне сесть в деревянное кресло около стола и вяло пожал мне руку.

Закончив приятный разговор, Магунов заложил руки за спину, прошелся по кабинету, сказал: «Так-с, неплохо и даже очень неплохо», — сел за стол, снял очки, протер их

безукоризненно чистым платком и, рассматривая свои холеные руки, спросил:

— Ну, так как дела, фемида?

Я сказал, что так себе, поначалу трудновато приходится. Прокурор громко чихнул, промокнул клетчатым платком рот и заметил, что это естественно, так и должно быть, но дело не в этом. Откинувшись на спинку стула, он снял очки, поиграл ими, посадил на место и, пристально разглядывая меня, мягко спросил:

— Вы по призванию или по найтно стали юристом?

Я резко ответил, что в этом я ни перед кем не намерен исповедоваться. Он высоко поднял брови, посмотрел на меня поверх очков и улыбнулся.

— Жаль, очень жаль, молодой человек.

— Это почему же вам жаль? - грубо спросил я.

Он же моей грубости противопоставил утонченную оскорбительную вежливость.

— Дорогой мой, юристом, как и поэтом, надо родиться. А я в вас этого не заметил. Простите, но не заметил, — Магунов широко развел руками и поклонился.

Мне стало смешно, я принял беззаботный веселый вид и сказал, что разные бывают поэты, а юристы тем более, потом положил на стол дело.

— Виктор Андреевич, здесь вкралась небольшая ошибочка, — сказал я как бы между прочим.

Магунов надменно выпрямился.

— Что? Какая ошибочка?

— Посмотрите сто первый лист, — небрежно кивнул я.

Прокурор морщась полистал дело и вдруг ахнул.

— Бог мой! Да это же прямой повод к отмене! — потом бросил на меня встревоженный взгляд. — Семен Кузьмич, а вы по нему подготовительное заседание проводили?

Я сказал, что только из-за этого и не проводил. Магунов облегченно вздохнул и заверил меня, что этот казус он сегодня же исправит. Он вызвал следователя, прямо на моих глазах сделал ему жесточайший нагоняй и срочно приказал немедля отправиться в город в тюрьму к арестанту подписывать протокол. После этого мы разговорились, но уже по-другому, по душам, и прокурор пригласил меня заглядывать к нему вечерами на огонек.

Надо отдать должное, Виктор Андреевич прекрасный собеседник. Он хорошо образован, начитан, очень не равнодушен к искусству, особенно к театру, когда-то был актером-любителем и по секрету мне признался, что и сей-

час с удовольствием поломался бы на сцене. Я ему верю: по крайней мере рассказы Чехова он читает превосходно. Но это еще не все достоинства прокурора. Он великолепный преферансист. Он играет с умом, чтобы не потерять партнеров, иногда и проигрывает.

Однако ни общность наших взглядов на искусство, ни преферанс не смогли скрепить нашу дружбу. Вскоре мы разошлись...

Прокурор всегда требует осуждения подсудимого, даже если он невиновен, и очень редко, в исключительных случаях, отказывается от обвинения. Для этого надо быть великодушным.

Начальство отличает Магунова и ставит в пример другим как работника, проводящего строгий прокурорский надзор. Что верно, то верно. Ни одно правонарушение не остается безнаказанным. По количеству уголовных дел наш район перегнул все районы области. Магунов большой мастер заводить уголовные дела.

...На скамье подсудимых семнадцатилетняя девушка с милым грустным лицом и яркими волосами. Свет ее волос, кажется, течет по фигуре чистыми переливчатыми струями. Ее можно бы было назвать красивой, если бы не большие красные руки, которые она старательно прячет за спину, и не ноги в грубых кирзовых сапогах. Она преступница, работая почтальоном, присвоила пособие в пятьдесят рублей, которое получала старушка колхозница за погибшего на фронте сына.

На соседней скамье сидит ее мать, вялая безликая женщина, а дальше рядком рассеялись, как цыплята, братья и сестры подсудимой, такие же ярковолосые, босоногие, беззаботно-веселые, словно они явились не на суд, а в кукольный театр. На краешке скамейки примостилась обиженная старушка. Она сегодня выступает как свидетель и потерпевшая. Но эта роль ей явно не по душе, да и пришла она сюда по строгому требованию прокурора. Чтобы как-то разжалобить судей, старушка хнычет и трет глаза какой-то черной тряпкой.

Поддерживает обвинение Магунов, защищает — Халтун. А дело, как говорят, проще пареной репы. После судебного следствия, которое устанавливает, что подсудимая на привоенные деньги купила чулки, стеклянные бусы, губную помаду и крошечный флакончик духов, прокурор кратко и логично излагает социальную сущность преступления, его вред и пагубные последствия, а потом про-

...с учетом смягчающих обстоятельств — глупости и бедности подсудимой, определить ей полтора года лишения свободы. Мать мешком валится на пол, протягивает руки и голосит, как на похоронах:

— Пощадите ее, граждане судьи! Одна она у нас кормил-и-и-лица-а-а!

Ее дружным хором поддерживают ребятишки.

Старушка тоже плачет и причитает:

— Простите ее. Уж бог с ними, с деньгами-то. Не нужны они мне...

Прокурор съежился, опустил голову и не может оторвать от пола глаз. Халтун спокоен и невозмутим: за свое многолетнее адвокатство он ко всему привык.

Суд предоставляет подсудимой последнее слово. Она встает, пристально смотрит на прокурора, потом на меня и удивленно протягивает:

— Неужто посадите?..

В комнате тайного совещания на этот раз не было оживленных споров. Чувствовалась какая-то недоговоренность, неловкость, подавленность. Мои любимые заседатели — колхозный казначей Вадим Артемьевич Ухорин, философ, моралист, и районный санинспектор Лидия Михайловна Афонина, черноглазая насмешница и хохотунья, — сидят хмурые, стараются не смотреть друг на друга. Ухорин беспрерывно курит злой вонючий самосад. В комнате от него настолько тяжелый и спертый воздух, что подкатывает тошнота. Я распахиваю окно. В комнату врывается вместе с беззаботно-веселым свистом скворца весенний ветерок.

— Ну, так как же решим, товарищи заседатели? — наконец с трудом выдавливаю я дежурный вопрос.

Ухорин, швырнув в окно окурок, спрашивает:

— А что, разве требование прокурора для нас обязательно?

Я поясняю, что прокурор от нас вообще ничего требовать не может. Суд ни от кого не зависим и подчиняется только закону.

— Тогда надо оправдать, — решительно заявляет Вадим Артемьевич.

— Нельзя, преступление доказано. Закон нарушен.

И вдруг резко, крикливо заговорила Лидия Михайловна:

— Закон не столб. И вообще, если бы я знала, что такое дело, то ни за что бы не пришла. Если вы ее думаете

посадить, то сажайте, но приговора я ни за что не подпишу.

Лицо ее покрылось красными пятнами, а на глазах слезы. Я понял, что она свою угрозу наверняка сдержит. Я сел и быстро написал приговор с условным осуждением. Заседатели с радостью его подмахнули.

Магунов в тот же день затребовал дело и подшил к нему протест: слишком мягкое наказание. Дело передали на новое рассмотрение, но уже в другой суд.

ЗАСЕДАТЕЛИ И ЗАМЕСТИТЕЛИ

Заседатели наделены всеми правами судьи, но пользуются ими с большой неохотой. Во всем и всегда виноват судья, даже если он никакого отношения к делу не имеет.

Всего у меня по району шестьдесят заседателей. И только на десяток из них можно рассчитывать как на судей. Остальные в полном смысле слова заседатели. Они заседают, да и только. В суде сидят строгие, с вытянутыми лицами, словно перед фотографом. Так они способны просидеть пять часов подряд, не моргнув глазом и не сказав ни единого слова.

Разобрав дело и удалившись в комнату тайного совещания, спрашиваю:

— Ваше мнение, товарищи судьи?

Они молчат, улыбаются, словно бы мой вопрос никакого отношения к ним не имеет. Начинаешь им разъяснять, что они такие же судьи, как и я, их голос равноценен голосу председательствующего. Они внимательно слушают, поддакивают, согласно кивают головами. Убедившись, что наконец-то они поняли свои права, опять задаю тот же вопрос. Они переглядываются, пожимают плечами и заявляют в один голос:

— Как вы рассудите, гражданин судья, так пусть и будет. Только не очень уж строго.

Это поначалу меня возмущало и коробило, но вскоре я привык.

Такова основная масса заседателей. Но среди них попадаются строптивые, которые идут не только против закона, но и здравого смысла.

Однажды под суд попал председатель колхоза «Труд Ленина» Илья Антонович Голова. Нас с ним сблизила и спаяла охотничья страсть. А познакомил меня с Голо-

вой председатель райисполкома Сергей Яковлевич Штыков.

В первый год работы я старался не на страх, а на совесть: до полуночи засиживался за изучением судебных дел. Как-то вечером раздается телефонный звонок. Узнаю голос Сергея Яковлевича.

— Судья, ты охотник? — спрашивает он и просит срочно зайти к нему в райсовет.

Прихожу и вижу, сидит у него курчавый, с выпученными озорными глазами мужик.

Сергей Яковлевич кивает на него и улыбается.

— Знакомься. Сам Голова, знаменитый председатель колхоза «Труд Ленина».

Мы познакомились. «Ну и что дальше, — думаю я, — к чему это знакомство?»

Штыков, посмеиваясь, посматривает то на меня, то на Голову.

— Ну что, Илья Антонович, возьмем парня?

— Куда? — удивленно спрашиваю я.

— За глухарем, — отвечает Штыков таким тоном, словно бы речь шла о каком-то пустяке. Не дав мне опомниться, ни возразить, что я не только не охотник, но даже и ружья в руках ни разу не держал, Сергей Яковлевич приказывает мне через час быть готовым.

На исполкомовском «газике», по сквернейшей дороге, в такую густую темень, хоть ножом режь, мы выехали в колхоз «Труд Ленина». Всю дорогу Штыков с Головой хвастались друг перед другом своими охотничьими удачами. Я же с ужасом думал о походе по болоту за глухарем. На мне было легкое осеннее пальтишко и ботиночки с галошами. Но мои опасения были преждевременны. У Головы нашлось все: и резиновые сапоги-заколенники, и куртка, и ружье, — Илья Антоныч отдал мне все лучшее. Когда я опоясался тяжелым патронташем, сбоку подвесил новенький ягдташ и закинул за спину двустволку, Сергей Яковлевич насмешливо посмотрел на меня и сказал:

— Тартарен из Тараскона.

Я, разумеется, никого не убил. Штыков с Головой стукнули по великолепному глухарю. Я им не завидовал, не раскаивался, да и сейчас не раскаиваюсь в этой поездке. Я видел, я слышал весеннее утро в лесу. Раньше я только читал о нем в книжках. Но какое может быть сравнение!

Когда мы возвращались с Сергеем Яковлевичем в Узор, он спросил:

— Ну и как?

Я глубоко вздохнул и закрыл глаза от удовольствия.

— Чудесно!

— Да... Ты прав. Чудесно! Лучше и не скажешь.

Охотничий зуд не давал мне покоя. Я не утерпел, позвонил в колхоз Голове, договорился с ним на неделе провести зорьку в лесу. Он с радостью согласился, и я принес Васюте тяжелого глухаря. Васюта взвесила его на безмене. Глухарь без малого весил пятнадцать фунтов. После этого я зачастил к Илье Антоновичу. Потом обзавелся собственным ружьем. С Головой я ходил и на зайцев, ходил и на кабана, и даже раз мы с ним завалили семнадцатипудового лося.

Голову знает весь район. Да еще бы не знать. В войну он командовал партизанским отрядом. «Отчаянный мужик», — говорят о нем. У Ильи Антоновича два ордена: Отечественной войны, Красного Знамени и куча медалей.

Характер у Ильи Антоныча горячий, резкий. Однако душа в нем добрая и даже возвышенная. Был случай, что он чуть не пристрелил меня на охоте. По неопытности я подбил глухарку. У Ильи Антоныча от гнева совсем вывалились из орбит глаза, он схватился за ружье и так заорал, что перепугал всех птиц в лесу. А через пять минут сам же успокаивал меня, чтоб я не очень-то переживал, потому что со всяким такое бывает, и привел мне пример, как он сам из озорства пульнул по дятлу. «Так батька, — рассказывал он, — взял этого дятла и мне по морде, по морде. И до тех пор хлестал, пока всего дятла не измочалил. С тех пор я понапрасну ни по одной птахе не стрельнул. А стреляю я во как, смотри». Он мгновенно вскинул ружье и хлопнул на лету сойку.

— Видал-миндал, как надо стрелять.

Он подобрал сойку и отрезал у нее лапы, сунул их в карман.

— Зачем они тебе? — спросил я.

— Для лицензии. Настреляю сто пар, сдам в охотничье общество и получу лицензию на отстрел лося.

Свою председательскую должность Голова не любит и не дорожит ею. У него в жизни три страсти. Наипервейшая — охота. Вторая — это страсть предаваться воспоминаниям о былых незабвенных делах партизанских. Если ему попадал в лапы слушатель (а мне таки приходилось

не раз), он всю ночь напролет рассказывал ему о вероятных и невероятных подвигах своего отряда. Когда слушателей нет, он вспоминает сам для себя. На него тяжелым грузом наваливается томительная и сумбурная бессонница. Перед его широко открытыми выпуклыми глазами кинолентой бегут ожесточенные бои, дерзкие налеты на железнодорожные станции, походы, переправы, рукопашные схватки и прочие жутко интересные штуки. Он то смеется, то скрежещет зубами и, вскакивая, ругается, проклинает себя: «У, черт, дурак, баранья голова, как глупо я упустил тогда этот эшелон с танками. Если б я его свалил, — наверняка был бы героем». Его разгоряченный мозг дорисовывает картины боев и придумывает новые. Это привело к тому, что теперь Илья Антоныч и сам не может разобраться, где в его рассказах правда, а где вымысел.

Есть еще одна страсть, которой он страшно стыдится. Хотя в этой страсти ничего позорного нет. Илья Антоныч очень любит макароны. Когда они случайно появляются у нас в поселке, Голова все бросает и мчится в Узор за макаронами. В деревнях спать ложатся с раннего вечера. И если в глухую ночь в Березовке у председателя горит свет, а из трубы валит дым, все знают, что Илья Антоныч жарит макароны.

Председатель Голова очень посредственный, а как хозяйственник и гроша ломаного не стоит.

В районе его терпят, поскольку Голова — фигура знаменитая и поскольку есть председатели еще хуже Ильи Антоныча.

У него дом, огород, корова, овцы и другая живность. Но все это дело рук и ума его супруги. Его же ничто не интересует, кроме охоты. Умри его супруга, он все на второй день распродаст, похерит и уйдет, куда глаза глядят.

Колхозом он командует, как командовал когда-то партизанским отрядом: дерзко и решительно. А по существу, руководит колхозом, да и самим Ильей Антонычем его зять — счетовод Иван Тимофеевич Лобанов. Человек очень хитрый и толковый. А председатель в его руках просто погоняло.

Встает Голова раньше всех в колхозе, с петухами. Ружье за спину, на лошадь и в лес. К началу трудового дня возвращается — и прямо в правление. Там счетовод ему вручает листок бумаги, на котором расписано, что сегодня делать и кому что делать. Получив наряд, Илья

Антонович опять садится на лошадь и, огрев ее плетью, направляется на левый край села. Отсюда он начинает свой деловой объезд. Подскакав к дому, не слезая с лошади, стучит по раме плеткой и кричит:

— Наташка, навоз возить!

— Ладно, — отвечает Наташка.

— Выходи!

— Дай печку дотопить!

— Выходи, мать в перетопить, а то я тебе всю печку по кирпичику разнесу, — орет Голова на всю деревню.

Наташка выскакивает из дома как ошпаренная и, отбежав на приличное расстояние, начинает поносить председателя самыми что ни на есть последними словами: зверь, изверг, макаронник.

Но ее гнев нисколько не волнует Илью Антоныча. Он свое дело сделал и направляется к следующему дому и опять плетью по раме.

— Макар!

Открывается окно, и в нем появляется плешивая голова старика.

— Чего тебе?

— Пойдешь... Ностай, худо ж ты пойдешь... — Голова вытаскивает из кармана листок. — Ага! Пойдешь и переложишь печку на скотном дворе в водогрейке.

— Неможется мне нонче, Илья Антоныч, поясницу ломит, — жалуется Макар.

— Пойдешь и переложишь. Понял?

— Не пойду. К доктору пойду, — и Макар захлопывает окно.

Но Илья Антоныч настойчив и неумолим. Он сам открывает окно, просунув голову, спрашивает:

— Макар, где корова?

— Известно, где. В поле, — отвечает Макар.

— Вот что, Макар, сейчас ты пойдешь в поле за коровой. Приведешь ее и поставишь на двор.

— Это почему же? — возмущается Макар.

— Потому что поля и трава колхозные, а колхоз тебе — не дармовая кормушка. Понял? И не дожидайся того, чтоб я ее сам привел, — с угрозой заканчивает председатель, вспрыгивает на лошадь и направляется к дому Макарова соседа. А Макар, проклиная всех — и председателя, и свою жизнь, собирается на работу. Не потому, что боится угроз Головы, который, впрочем, только грозит, но никогда не переходит к решительным дейст-

виям, а потому что знает, что Илья Антоныч, пока не выгонит его из дома, не успокоится.

Наряд отдан, Илья Антоныч едет домой завтракать. Позавтракав, опять берет в руки плеть, садится на лошадь и направляется наблюдать за ходом работ. И весь день в полях, на скотных дворах гремит зычный командирский голос председателя.

Когда его вызывают в райком драть и перевоспитывать, а это случается частенько, Голова стойко выдерживает головомойку, а потом наивно спрашивает:

— А зачем такой длинный разговор, зачем эти громкие слова? Не нравлюсь? Плохой я председатель? Так снимите!

Как ни было районное начальство добродушно-снисходительно настроено по отношению к Голове, все же изрядно он надоел, и потому ждали случая с ним рассчитаться. И вот он представился.

Накануне ноябрьских праздников Голова на общем собрании внес предложение, текст которого дословно взят из протокола:

«Торжественно всем колхозом отметить день Великой Октябрьской социалистической революции. Для этого:

а) из кладовой колхоза выделить на самогон десять пудов ржи;

б) забить на мясо яловую корову Буренку;

в) праздничное гулянье провести в помещении избы-читальни культурно, без всяких скандалов и безобразий;

г) просить гармониста Василия Семипалова не напиваться и весь вечер играть на гармонии;

д) ответственность за проведение вечера возложить на председателя колхоза Голову.

Принято единогласно».

Говорят, что постановление это было выполнено по всем пунктам: праздник был проведен весело, организованно. Пьяных было мало, а сам председатель с Васькой Семипаловым только для приличия выпили по стопке самогона. Потом, уже после гулянья, на рассвете они отвели душу у Ильи Антоныча дома.

Об этом я узнал слишком поздно, когда ко мне из прокуратуры поступило дело о привлечении Головы к уголовной ответственности за самогоноварение. «Ну, теперь ему крышка», — подумал я. Что делать? Случай из ряда вон, и как раз в разгар кампании по борьбе с самогоноварением.

Я снял трубку и позвонил председателю райисполкома. Сергей Яковлевич тяжко вздохнул и сказал:

— Я тут — пас...

Позвонил секретарю райкома Кондакову, тот ответил мне так:

— А почему вы, товарищ Бузыкин, нас спрашиваете? Вы судья, у вас законы. Как решите, так и будет. Мы своим авторитетом на суд не давили и не собираемся давить.

Что делать? Заявить себе отвод и умыть руки? О нашей с Головой дружбе известно всему району. Самоотвод — самый разумный и законный выход из этого положения. Кому тогда доверить разбор дела? Своим заместителям?.. Авениру Темкину? Конечно, он бы с великой радостью согласился, только доверь, провел бы суд с помпой и размотал бы Илье Антонычу всю катушку. Ивану Михайловичу Иришину? Этот, по доброте своей душевной, осудит его на год лишения свободы, на большее у него не поднимется рука, и тогда никакие жалобы, ни апелляции не помогут. Областной суд затвердит этот приговор. А год для Головы при его характере — вечность. Нервы его не выдержат, выкинет какой-нибудь фортель... Просить областной суд нарушить подсудность и передать дело в соседний район? А что толку? Самый умный и милейший судья не согласится на условное осуждение: приговор по протесту прокурора наверняка будет отменен за мягкость. Если же я сам буду слушать это дело и вынесу условное наказание, то меня обвинят бог знает в чем. Лучше, если бы сам областной суд вынес Голове условный приговор. Тогда никто и не стал бы протестовать. Но как сделать, чтоб областной суд в этом вопросе взял на себя инициативу? Трудную задачу мне задал друг Илья Антоныч Голова. Долго я над ней думал и, наконец, сказал сам себе: «Что будет, то будет. А дело разберу сам. Проведу процесс со всей строгостью закона, с заседателями, которые во всем идут судье наперекор».

Дня за три до суда ко мне в кабинет явился сам Голова. Глаза у него блестели, а из-под шапки выбивался кудрявый спутанный чуб. Он плюхнулся на диван, с хрустом потянулся.

— Ну что, судить будешь?

— Буду.

— Ну, ну, валяй, наяривай, — тоскливо улыбаясь, сказал Илья Антоныч.

— Вон из кабинета, — строго приказал я.

Он встал, сморщился, затряс головой.

— Спасибочка, Семен Кузьмич, от всего сердца благодарен, — и вышел.

Я смотрел в окно. Он шел от суда по дороге к чайной и вытирал шапкой лицо.

Спустя часа два он явился. Трезвый, робкий, совершенно подавленный.

— Ходил... думал... А на сердце такая тяжесть, словно убил я человека. А что я сделал? Честно выполнил волю народа, — с грустью пожаловался Илья Антоныч. — Нет, ты скажи, неужели колхозник не имеет право на культурный отдых в свой революционный праздник?

На его вопрос я не стал отвечать. Да и что я мог ему сказать.

Он пристально посмотрел на меня и жалобно протянул:

— А, молчишь. Значит, я ни в чем не виноват.

— Как мог твой разумный зять допустить такое дикое решение? — спросил я.

Он тупо уставился в пол.

— Зятя не было. В больнице зять: положили печенку лечить, — он оторвал глаза от пола и испуганно посмотрел на меня. — Много могут дать?

Я сказал, что это дело суда и что готовиться надо к худшему.

Он весь дернулся и зябко поежился, словно бы ему было холодно, и заговорил, пытаясь придать голосу равнодушный тон:

— Наплевать на все. Дадут год, отсижу как-нибудь, потом получу паспорт и махну куда-нибудь в город, а то и в Сибирь белку промышлять. Не страшно. Голова нигде не пропадет.

— А если два? — спросил я.

— Все равно, — как эхо отозвался он.

Я объяснил Голове, что нужно срочно предпринять. В первую очередь не хныкать, немедленно ехать в город, искать адвоката. Халтун для такого дела не годится. При нем я позвонил в областную прокуратуру и адвокатуру, и мне назвали фамилию толкового защитника.

В день суда рано утром явился адвокат и до открытия судебного заседания успел познакомиться с делом. Впрочем, дело было простое, ясное и не вызывало никакого

сомнения. Адвокат разочаровался и сказал, что ему здесь делать нечего.

Прокурор на этот раз тоже был аккуратен. Он явился за десять минут до начала слушания дела и сразу же спросил:

— Кто из заседателей будет разбирать дело?

Он не сомневался в моем самоотводе и страшно удивился, когда я ему сказал, что самоотвода не будет, но он ничего не сказал, а только широко развел руками, как бы говоря: «Ну и ну... Впрочем, смотри, девка, тебе рожать».

Когда мы вошли в зал судебного заседания, он был полон. Еще бы. Кого судили? Знаменитого Илью Голову. Он стоял вытянувшись, по стойке смирно, в начищенных до солнечного блеска сапогах, в синих диагоналевых шароварах и в новой зеленой [illegible], подпоясанной широким офицерским ремнем. Прямо на фуфайку он нацепил все свои регалии, а сбоку [illegible] полевую сумку. Я взглянул на Илью Антоныча и с болью подавил улыбку. Он сделал все, чтобы выглядеть солидно и внушительно.

Меня беспокоил вопрос о составе суда. В последнюю минуту прокурор может мне заявить отвод. И это не только законно, но и обоснованно. Но я уповал на строптивость своих заседателей, которые из враждебного противоречия возьмут да и откажут ходатайство прокурора. К счастью, до этого не дошло. Когда я спросил Магунова, доверяет ли он слушать дело этому составу судей, он сразу же ответил, что не возражает. Хуже было с подсудимым. Илья Антоныч никак не мог понять, что значит возражать против состава суда, да и вообще может ли он здесь против чего-либо возражать. А когда, наконец, дошел до него смысл слов, он очень удивился и дал мне понять, что кому же еще, как не мне, может доверить свое печальное дело.

Я машинально вел процесс и плохо слушал, что говорилось. Я думал об одном, как вести себя с заседателями. Если я буду настаивать на условном осуждении, они восстанут против меня и будут требовать подсудимому самого строгого наказания. Если же себя вести так, чтобы они требовали условного осуждения, тогда областной суд отменит наш приговор. Там не очень любят, когда приходят дела с условным осуждением. Областные судьи скорее сами применят условное наказание, чем это позволят нам. Они

считают себя по крайней мере выше нас на три головы, а умнее на все четыре. Перед ними не сидит человек, у которого глаза ошалели и с носа каплет пот. А у моего подсудимого пот тек даже из ушей.

К концу заседания у меня полностью созрел план действия, и я твердо решил остановиться на первом варианте.

В прениях прокурор просил суд определить Голове год лишения свободы, адвокат, как я и ожидал, просил тоже года лишения свободы, но условно.

Когда Илье Антонычу предоставили последнее слово, он вскочил, вытаращил глаза и заговорил одними междометиями:

— Э-э... Я-я... Й...— и, не сказав ничего вразумительного, махнул рукой и сел.

Как я предполагал, так оно и вышло. Не успел я сказать, что подсудимый, хотя и виновен, но заслуживает снисхождения, как они в один голос заявили, что никаких снисхождений ему, два года тюрьмы и баста. Они сказали то, что я хотел. Впервые в жизни я благодарил глупость и жестокость человеческую. Я подписал их приговор, но предупредил, что с ними не согласен и буду писать особое мнение. Должен сказать, что они не возражали, когда я попросил их не брать осужденного под стражу до вступления приговора в законную силу.

Когда я огласил этот приговор, зал «ахнул». У прокурора почему-то неестественно задергалась шея. Но он ничего не сказал, схватил портфель и стремительно вышел. Зато возмущению адвоката не было предела. Он долго доказывал в канцелярии суда секретарям, что это предел дикости и жестокости.

— Нет, вы только подумайте,— страстно говорил он, размахивая руками.— Сам прокурор просил год, а они два. О идиоты, варвары бессердечные!

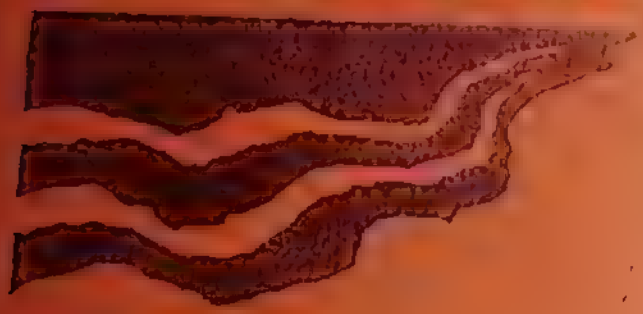
Но что было с Ильей Антонычем... Приговор пригвоздил его к полу. Все давно уже разошлись, а он все стоял перед столом суда, беспомощно разводя руками. Адвокат подошел к нему, посадил на стул, стал горячо убеждать, что он этому позорному приговору сломает хребет. Он поинтересовался, кто остался при особом мнении. И когда я назвал себя, он изумленно вскинул брови.

— О-о-о-о!— и свистнул. И сразу же сел писать кассационную жалобу.

Жалко Голову! До слез жалко! Но что делать. У меня другого выхода не было.

ВИКТОР
КУРОЧКИН

ПАНное



Посыпались телефонные звонки. Меня беспрерывно спрашивали, утка это или правда, что Голове дали два года.

Позвонил и Сергей Яковлевич и холодно сказал, что он был обо мне лучшего мнения. Я обиделся и заявил, что суд ни от кого не зависит и подчиняется только закону.

— Понятно. Будь здоров, судья, — оборвал он меня и повесил трубку...

Зато звонок Ольги Андреевны взбесил меня и чуть не погубил все дело.

— Ты порядочная дрянь, — заявила Чекулаева.

— Ты так думаешь?

— Все, все в райкоме такого мнения.

— На что же вы рассчитывали?

— Самое большее — год. Об этом был предупрежден и прокурор, да и сам Голова знал.

Я прошел в канцелярию. Секретари о чем-то вполголоса разговаривали с судебными исполнителями. При моем появлении они замолчали, разбежались по своим столам и с усердием принялись скрести перьями. А уборщица Машеня демонстративно бросила на пол швабру и заявила, что завтра же берет расчет.

Единственно, кто меня утешил в этот день, так это прокурор. Он позвонил и сказал, что протеста на жестокость приговора не будет, так как меру наказания считает вполне справедливой.

Спустя две недели дело Головы рассматривалось в кассационной инстанции облсуда. К делу, кроме жалобы, был приложен ворох характеристик и справок. Но на всю эту бумажную шелуху я меньше всего рассчитывал. Главным козырем в этой рискованной игре был сам Голова, его личное обаяние. Поэтому на суде присутствовал и сам Илья Антоныч.

В тот день я с утра ходил как чокнутый. За эти две недели нервы окончательно растрепались, и мною овладело отчаянье. Теперь я был твердо убежден, что приговор будет оставлен в силе. До обеда я себя еще кое-как держал в руках, а потом стал звонить председателю уголовной коллегии. Без счету я вызывал город, и каждый раз мне отвечали, что дело еще не рассматривалось. И только к вечеру я услышал сиплый голос Павлины Тимофеевны, или попросту Павлинихи, как зовут ее все народные судьи. Я робко спросил, как решилось самогонное дело Головы.

— Мы считаем, что народный суд правильно решил это дело. Самогоноварение по области приняло угрожающий характер, и борьба с ним должна вестись самая решительная.

Я ничего ей не ответил. У меня вывалилась из рук трубка.

— Алло, Бузыкин, — взывала ко мне Павлиниха. — Куда ты пропал? Так я говорю, — продолжала она, — в этом смысле ты молодец, что ведешь жесткую карательную политику... Но, — она чуть-чуть смягчила голос. — Все же мы решили сохранить ему свободу. Два года так и оставили, но считать их условными. Человек он заслуженный, не опасный и весьма симпатичный. — Дальше я не помню, что она говорила, но говорила что-то приятное и хорошее...

Мои расчеты и надежды оправдались. Голова остался на свободе. Но это не принесло мне ни радости, ни удовлетворения, хотя авторитет мой, бесстрастного и строгого судьи, в глазах начальства подпрыгнул сразу на три ступени. Зато я навсегда потерял друга и хорошего человека. Теперь мы не встречаемся. Он считает, что за все его добро я отплатил ему черной неблагодарностью. Разве мог он предположить, да и кто-либо другой, что только для спасения его свободы я затеял эту рискованную игру с правосудием. Об этом не узнал никто. Да и надо ли об этом рассказывать?

А лихой партизан Голова после всех этих судебных передряг сник. Его свободолюбивая гордая натура надломилась, притихла. С председателей его сняли, назначили бригадиром. Он пробыл на этой должности с полгода, потом выправил паспорт и уехал, а куда — никому не известно.

...Если судьба меня прижмет и оставит в Узоре на долгие годы, тогда я подберу себе настоящих заседателей. А сейчас таких у меня немного, и десятка не наберется. Вот они: санинспектор Лидия Михайловна Афонина, заведующий райсобесом Юлий, колхозник Петр Арсентьевич Ефимов, счетовод Василий Анохин, колхозный казначей Вадим Артемьевич Ухорин. Они всегда с охотой готовы разбирать любое запутанное дело, и, как они сами говорят, в суде они отдыхают. Это явление обычное. Кому не известно, что человек по-настоящему отдыхает от одной работы, когда он берется за другую.

Лидии Афониной лет двадцать пять. Она не замужем. И это меня удивляет. У нее все данные, чтоб нравиться мужчинам: и наружность, и характер добрый, веселый. Она судит не умом, а сердцем. Во время слушания дела Лидия — дотошный следователь, в комнате тайного совещания — невыносимый спорщик. Это нередко злит меня и возмущает. Но стоит взглянуть на ее разгоряченное лицо, на приоткрытые в легкой улыбке губы, злость мгновенно пропадает. Улыбка у Лидии покоряющая. Она не содержит никакой мысли, она выражает красоту и радость жизни. Вероятно, поэтому большинство приговоров, вынесенных с участием Лидии Михайловны, отменяются областным судом за мягкостью меры наказания.

Юлий Алексей Адамыч — находка для меня. В молодости он кончил правовую школу, работал адвокатом. Он превосходный цивилист, но, к великому сожалению, любитель приложиться. Я вызываю его на разбор самых сложных гражданских дел. Он никогда не теряет трезвости мысли и знаний. Как-то я резко предупредил его, чтоб в суд являлся как «стеклышко». Но вскоре понял, что для Алексея Адамыча опьянение столь же необходимо, сколь для нормального человека трезвость.

Петр Ефимов и Василий Лукин тоже толковые заседатели, и работать с ними одно удовольствие.

Выше всех я ценю, конечно, Вадима Артемьевича Ухорина. Вадим Артемьевич из благородных. Отец его, кроме дворянской грамоты и шести десятин земли и кучи ребятишек, ничего не имел. Вадим по счету был девятым в семье. Землю Ухорины не умели обрабатывать и сдавали ее в испольу. Детство Вадима Артемьевича прошло в страшной бедности. Отец учительствовал и на свое крохотное жалованье никому из детей не смог дать приличное образование. Все они стали простыми крестьянами.

— Мы были «бездушные» дворяне и самые несчастные в селе. Все нас безжалостно презирали. И всему этому была виной наша бедность и дворянское происхождение, — жаловался мне Вадим Артемьевич.

Женился Ухорин на довольно-таки зажиточной крестьянке. Но вот уже двадцать с лишним лет они живут врозь: она с детьми в городе, он в родном селе Бекташевке.

Недавно я был в этом селе по заданию райкома. И на-

вестил своего заседателя. Он жил в огромном полуразвалившемся доме.

Когда я вошел, Вадим Артемьевич сидел на березовом чурбане около железной печурки. Раскаленная печурка гудела, как паровозный котел. На мой стук он даже не пошевелился и продолжал сидеть, вытянув к печурке руки. Я окликнул его. Он повернулся ко мне и долго подслеповато разглядывал. Я подошел к нему и поздоровался. Вадим Артемьевич узнал, вскочил. Наконец он, видимо, сообразил, что надо усадить нежданного гостя.

Я не знал, о чем говорить. Ухорин тоже молчал. Я не понимал его смущения...

Философу свойственно разумно мыслить и неразумно поступать. Обывателю — наоборот. Ухорин по своему складу ума ближе к философам. Начнет говорить — не наслушаешься, а возьмется за дело — все валится из рук. То ли дворянское происхождение, то ли воспитание, то ли повинен тут характер, но Вадим Артемьевич, кроме как к умным разговорам, больше ни к чему не приспособлен.

Вадиму Артемьевичу шестьдесят лет, но он не владеет никаким ремеслом. Пробовал пахать — бросил, пытался служить — не получилось. Уехал в город, поступил на завод, а через три года опять вернулся в деревню, оставив в городе жену и детей.

Про Ухорина ходят самые нелепые были и небылицы. Вадим Артемьевич и не пытается их опровергать. С невозмутимым спокойствием философа он рассуждает: «О человеке можно ничего не знать, зато о нем можно все сказать».

Как он стал заседателем, я не знаю, ясно только одно: Вадим Артемьевич не рвался на эту должность.

Чего не скажешь про Авенира Агеевича Темкина: его избрали вершить правосудие, потому что уж очень он сам хотел; бухгалтера конторы «Заготсырье» Ивана Михайловича Иришина — потому что он человек честный и еще инвалид. А инвалид — самый удобный для этого дела человек: бегать не надо, сиди да суди потихоньку. Лида Афонина попала в судьи по разнарядке. Пришел в райздрав приказ выдвинуть кандидатуру в заседатели. Заведующий отделом народного образования Валентин Сергеевич Пех был рекомендован в заседатели как уважаемый в районе человек. Плотник Толстопятов Кирилл — потому, что у него абсолютно чистая биография; колхозница Аниська Пузикова — как передовая доярка.

А вот Вадим Артемьевич стал заседателем по призванию, которого, впрочем, не сознавал. Жизненные наблюдения, незаурядный ум Ухорина как нельзя лучше пригодились для суда. В самых затруднительных казуистических делах он умел найти верный выход, а порою подсказывал поистине мудрое решение.

Два охотника никак не могли поделить волчью шкуру. Голодный волк, бродя вокруг деревушки Козий Рог, напоролся на капкан. Железные челюсти капкана схватили его за лапу. Но зверь был матерый и настолько сильный, что уволок капкан с собой. Хозяин капкана бродил по следу двое суток и, совершенно отчаявшись, бросил поиски. А через неделю узнал, что километров за пятнадцать от его деревни был убит волк с капканом на лапе. Он разыскал охотника, который убил волка, и потребовал свой капкан. Тот отдал ему без всяких возражений. Делу бы на этом и кончиться. Но хозяина капкана замучила зависть. Государство за убитого волка выплачивало четыреста рублей премии и девяносто рублей за шкуру. Все это привело в конце концов к судебной тяжбе. Капканщик требовал признания за ним абсолютных прав на зверя, утверждая, что все равно бы волк с капканом далеко не ушел и в конце концов бы сдох. Его противник иска не признавал, доказывая, что если бы он не пристрелил волка, тот бы великолепно еще лет десять душил овец и резал коров, так как капкан уже едва держался на лапе зверя. Доводы с обеих сторон звучали убедительно, однако проверить их достоверность не представлялось возможным. Приходилось верить на слово и тому, и другому. Но что принять за истину и как решить это одновременно столь простое и сложное дело? Я обратился к Вадиму Артемьевичу, он улыбнулся, пожал плечами, но ничего не сказал. Другой мой заседатель уверенно заявил, что в иске надо отказать, так как волк должен принадлежать тому, кто убил его из ружья. Я с ним согласился и быстро написал решение.

Вадим Артемьевич несколько раз внимательно перечитал его, старательно очистил перо, нехотя обмакнул его в чернила и, вздохнув, вывел жирную подпись.

— Что это вы так тяжело вздыхаете? — спросил я.

— Нелегко подписываться под несправедливостью,— ответил.

Это меня удивило.

— Зачем же подписывался, если сомневаешься?

Ухорин усмехнулся.

— Ведь ты же, Семен Кузьмич, тоже сомневаешься. И тоже подписался, и не только подписался, но и сам сочинил это решение.

Меня взорвало.

— Что ты этим хочешь сказать? — резко спросил я.

— Сомневаешься — не торопись делать выводы, — спокойно ответил Вадим Артемьевич и, помолчав, добавил: — Мне кажется решение неверным, по-вашему, выходит, что волка убить так же легко, как курицу. Да если бы у него на лапе не было капкана, разве бы его убили. Волк хитрый и осторожный зверь, недаром на него облавой ходят.

— Если бы волка не убили из ружья, он все равно бы ушел, отгрыз лапу и ушел, — веско заявил заседатель Ефимов.

— Конечно, ушел бы, — охотно согласился с ним Ухорин.

— Чего же ты хочешь, наконец? — спросил я.

Вадим Артемьевич сказал, что он ничего не хочет и ему совершенно наплевать на этого волка, но справедливость требует, чтобы шкуру и премию поделили между охотниками поровну.

Мы еще немного поспорили с ним, но уже для вида, из самолюбия. Неопровержимая логика Ухорина была очевидна.

Когда я заново переписал решение и огласил его в зале судебных заседаний, охотники дружно сказали: «Спасибо, гражданин судья». Другого решения они и не ожидали. В таких делах они разбираются лучше всех судей, вместе взятых.

В другом гражданском деле Ухорин помог мне не только избежать грубой юридической ошибки, но и раскрыть гнусное преступление.

В одном селе мальчуган, роясь в яме, нашел крохотное золотое колечко. Это колечко у него мгновенно отобрала старшая сестра. Односельчанка Букреева заявила, что это ее обручальное кольцо и вырвала его у бедной девушки чуть ли не с пальцем. На этом она не успокоилась и подала в суд заявление с требованием взыскать с семьи этой девушки все вещи, которые якобы выкопал покойный их дед во время войны из ямы. Иск был предъявлен не только на колечко, но и на золотые серьги, костюм, два пальто, разное белье и даже швейную машину —

всего на сумму пять тысяч рублей. В свидетели Букреева пригласила свою соседку, которая видела, как дед разрывал ночью яму.

На суде было установлено, что действительно у Букреевой были похищены из ямы вещи, однако ни у кого из односельчан не падало подозрение на эту семью. Свидетельница Букреевой клялась всеми святыми, что она сама видела, как дед темной ночью разрывал яму, а когда она пыталась его пристыдить, то он ей пригрозил, что если она пикнет, он ее сразу же укокошит. Допросить деда, выражаясь языком юристов, не представлялось возможным, так как он второй год отдыхал на кладбище. Сын старика-преступника клялся, что его отец не мог пойти на такое страшное дело. Свидетельница утверждала обратное и даже перечислила все вещи по пальцам, которые были взяты из ямы. Первое время, в которой она доказывала, навела Вадима Артемьевича на серьезные размышления. Он посоветовал мне дело [illegible] свалить и послать к свидетельнице милиционера с обыском, потому что, как он выразился, «Эта баба [illegible] подозрительно икру мечет». Обыск дал самый [illegible] результат: были найдены золотые серьги и детское шелковое одеяло. Она созналась, что вырыта [illegible] яму и почти все их продала. Ей нужен был случай, чтобы свалить свое преступление на кого-нибудь, так как, по ее словам, этот грех не давал ей покоя, и что она на протяжении пяти лет подряд каждый месяц ждала ареста, а по ночам ее мучили кошмары. Ее судили и за мошенничество, и за дачу ложных показаний, и за клевету на безвинного человека. Судила ее выездная сессия показательно, в родном селе и приговорила к пяти годам лишения свободы. Народ приветствовал это наказание аплодисментами.

Ради справедливости надо отметить и то, что половина заседателей не любит нашу работу и в суд их приходится приводить чуть ли не силом. Вадим же Артемьевич всегда готов слушать любое дело. Если я его не вызываю неделю, он идет в сельсовет и напоминает мне по телефону:

— Семен Кузьмич, вы меня не забыли?

— Никак нет, Вадим Артемьевич. Только что думал о тебе.

— Значит, мне завтра приходить?

— Обязательно.

Мне очень хорошо понятно это рвение к правосудию Ухорина.

В колхозе Ухорин числится общественным казначеем. Я очень смутно представляю, что это за должность. На работу в суде он смотрит как на свою основную и дорожит ею.

Ради пользы дела я добился того, что Вадима Артемьевича утвердили моим четвертым заместителем.

Заместитель — тот же заседатель, только в мое отсутствие он пользуется всеми правами народного судьи, его зарплатой и не несет никакой ответственности. Во всем и всегда виноват судья, даже если никакой нет его вины. Если во время моей болезни заместитель вынес явно противозаконное решение, берут за воротник судью... И весь год отмечают в приказах, кричат на совещаниях о том, что судья Бузыкин пустил на самотек учебу и воспитательную работу среди заседателей. Может быть, так оно и есть. Только мои заседатели и заместители ужасно не любят учиться.

У меня три заместителя: директор промкомбината Родион Алексеев, завсберкассой Авенир Темкин и бухгалтер конторы «Заготсырье» Иван Михайлович Иришин. Самый совестливый из них — Иван Михайлович. Он бесконечно добр, жалостлив и всегда с большой неохотой садится за судебный стол.

Родион Алексеев вообще презирает юристов и считает для себя незаслуженным оскорблением замещать какого-то судью-молокососа. Зато совершенно другого мнения на этот счет Авенир Агеич Темкин. Его хлебом не корми, только дай посудить. Он всегда с радостью готов меня замещать и ждет не дождется, чтоб я куда-нибудь уехал: в отпуск, на учебу, не важно куда, лишь бы уехал или просто заболел.

Надеясь со временем стать моим преемником, Темкин думает поступить на заочное отделение юридического института и прилежно зубрит уголовный кодекс. Когда я ему заметил, что при поступлении в институт будут проверять его знания в объеме десятилетки, а заучивать наизусть статьи — непужное занятие, он ухмыльнулся и сказал:

— Это очень я люблю.

Я не мог удержаться от смеха. Вспомнился вечер 8 Марта, который мы проводили с Темкиным в компании учителей. Авенир Агеевич сидел неподалеку от меня с пышнотелой директрисой школы, гладил под столом ее колено и громко шептал ей на ухо:

— Это очень я люблю.

С самого начала отношение у меня к Темкину настороженное, а после того как он, замещая меня, вынес явно необоснованный оправдательный приговор, я стал сомневаться в его честности.

Моей мечтой было иметь заместителей неподкупных, честных и умных. Решил вывести из состава заместителей Алексеева и Темкина, а вместо них ввести Юлина и Ухорина. Стал ходатайствовать. Кандидатура Юлина была отвергнута немедленно и безоговорочно. Что касается Ухорина, то тут председатель райисполкома только неопределенно пожал плечами. Я стал горячо доказывать, что это очень умный и толковый заседатель.

— Да знаем мы, знаем, — перебили меня. — Был он у нас председателем сельсовета, библиотекарем. Ну, какой же это начальник, который только способен советовать?

Но я все-таки настоял на своем. И как же мне после пришлось пожалеть, что не прислушался к разумным словам.

Меня вызвали на совещание в область. Я там пробыл три дня. В это время судил Вадим Артемьевич. Когда я вернулся и стал проверять работу своего желанного заместителя, то меня прошиб холодный пот. По всем делам были вынесены противозаконные и абсурдные решения.

— Как же это так получилось-то? — спросил я Вадима Артемьевича.

— Заседатели всё... — пожаловался он. — Такие строптивые попались заседатели, что и не приведи бог. Я им толкую, что надо решать так, а они все наоборот. А что мне оставалось делать? Как ни вертись, двое против одного. Сам вижу, что решение противозаконное, глупое, а подписываюсь. Плачу и подписываюсь. — Помолчав, с грустью добавил: — Очень я не авторитетный человек. Ты уж, Семен Кузьмич, больше не оставляй меня одного.

Мне ничего не оставалось, как просить прокурора все эти дела опротестовать на предмет их отмены. Что он и сделал с превеликим удовольствием.

ЛЕТО 1950 ГОДА

Для большинства закон и суд — нечто абстрактное, затрапетное и грубое. Для меня — это неуютная большая комната, называемая залом судебных заседаний, с четырьмя рядами широких скамеек, деревянная клетка для подсудимого, длинный стол под зеленым сукном, пухлые или тощие дела в синих и серых папках, кодексы, справочники, инструкции, циркуляры и бесчисленное множество бумаг — официальных и неофициальных, слезливых и кляузных, нужных и ненужных.

Они отнимают все мое время, сушат мозг, отравляют кровь и доводят до того, что сам перестаешь себя узнавать. Не прошло и года, а какая-то частица моей души, причем лучшая частица, пропала: или она затерялась среди бумажного хлама или секретарь суда подшил ее в какую-нибудь серую скучную папку и положил в архивный шкаф на съедение мышам. Где же вы, юношеские светлые мечты о высоком долге и ответственности? Я давал клятву любить тебя, человек, уважать и со священной осторожностью посягать на твою свободу. Еще на студенческой скамье я как идолу поклялся этой пресловутой формуле: «Лучше оправдать сто виновных, чем осудить одного невиновного». Как я мучился и переживал, когда в первый раз лишил человека самого дорогого — свободы. А что, если он не виноват? От этой мысли я вскакивал в глухую полночь и вытирал со лба холодный пот...

Позавчера я организовал выездную сессию суда в Макарьевский сельсовет. Вы, наверное, думаете, что для этого мне специально по заказу подали машину и я погрузился в нее с заседателями, прокурором, адвокатом, экспертами и прочими участниками процесса. Ничего подобного. Я засунул в портфель три тощих синих папки и сказал своему секретарю — Тонечке Пишулиной: «Идем». И мы пошли.

По большаку до Макарьева километров пятнадцать. Мы же двинулись напрямик тропинкой. Утро было ясное, тихое, прохладное, с обильной росой. Солнце еще не жгло, оно тепло и приветливо улыбалось нам с бездонно-прозрачного неба. Река, отшумев, убралась в узкое каменистое русло и спокойно текла, мягко покачивая прибрежный камыш, звонко клокотала на перекатах. Над густыми зарослями березняка, свистя и хоркая, тянули вальдшне-

лы; с противным пронзительным криком, как настеганный, носился чибис.

Но уже чувствовалось, что весна догуливает свои последние деньки, а на смену ей идет лето — душное, пыльное, с роями мух и назойливыми слепнями, с полуденной сонной истомой, соленым потом, с горячим дыханием ветров, бурными грозовыми дождями и изнурительными полевыми работами.

Влажная упругая тропинка вела вдоль берега крутого и обрывистого. Над водой клубился пар, словно ее подогрели. От берегов стремительно мелькали синие, узкие и темные, как тени, на быстринах плескались язи, а в густых зарослях осоки тяжело, как камень, бултыхнулся лещ.

Тропинка свернула в сторону, и мы, перейдя по бревнам крошечное болотце с прозрачной ржавой водицей, вышли на широкий низинный луг с редкими приземистыми кустами ольшаника. Сочный, сочный, изумрудный, он цвел вовсю, блестел и переливался миллиардами радужных искр.

И я задрожал, как от озноба. Моя иссохшая канцелярская душа встрепенулась, и я чуть не задохнулся от радости. Свершилось чудо! Оно — это тонкое, едва уловимое Я — внезапно вернулось, и мне захотелось кричать и плакать. И я бы закричал и навзрыд заплакал от счастья, если бы не было рядом секретаря, упал бы в траву, жадно бы охватил ее руками и неступленно целовал бы эту благодатную сырую землю, дающую нам все и жизнь, и силу, и счастье, и любовь. В одну минуту я забыл все прежнее. И мне стало легче и привольнее, чем птице. Я мог свободно дышать, чувствовать и наслаждаться. Теперь я обладал всем! Все, что окружало меня, было мое: солнце только для меня и этот веселый пестрый луг существовал, чтобы услаждать и радовать мое Я.

Удивительно тонкая, капризная и чудесная штукенция — собственное Я. И как несчастны и бедны люди, которые ради солидных постов, высоких окладов, ради всей этой внешней шелухи подавили в себе свое Я, что способно чувствовать, понимать и находить смысл и радость жизни в самом простом и обычном — и в этом заболоченном лугу, и в кривоствольной чахлой березке, и в стройной гордой сосне, и в полевом лиловом колокольчике, и в этой игривой речонке с нелепым названием Разливайка.

Вернувшееся Я не покидало меня весь день. Наоборот, оно росло, крепло, и, наконец, я полностью стал самим собой — человеком, умеющим чувствовать, страдать, а также уважать чувства и страдания других.

Когда мы пришли в Макарьево, около сельсовета стояла толпа празднично одетых колхозников. Я подумал, что, видимо, как раз попал на престольный праздник. Но, оказывается, все они пришли послушать, как будут судить двух вдов — Машку и Наташку, подравшихся из-за жениха Ваньки Веселова.

Помещение для суда было заранее подготовлено, заседатели давно уже дожидались меня, и я, не мешкая, в каком-то приподнятом веселом настроении открыл заседание и объявил, что слушается дело по обвинению Марии Петровны Петровой в нанесении побоев на почве ревности гражданке Комаровой Наталье Ильиничне. В избе, словно ветер, зашелестел смех, и несколько рук вытолкнули к столу Машку с Наташкой. Молодые складные вдовушки, одна в яркой красной кофте, другая в розовой, как вечерняя заря, в одинаковых черных широких юбках и аккуратных хромовых сапожках, они походили друг на друга, как танцовщицы русского хора. Только одна была слишком полна и пухла, другая же не толста и не тонка, а так, в меру фигуриста. Они стояли передо мной, стыдливо прикрывая лица платками. У пышной видны были только яркие жадные губы, у фигуристой — два черных настороженных глаза.

— Мария Петровна кто будет? — спросил я.

— Вон та, левая, — подсказал мне заседатель.

— Займите место на скамье подсудимых, Петрова, — нарочито строго, чтобы сдержать улыбку, приказал я.

Подсудимой оказалась толстушка. Она села на узенькую скамейку, съежилась, подобрала под себя ноги.

— Потерпевшая Наталья Комарова, какие у вас будут ходатайства перед судом?

Фигуристая в розовой кофте женщина отрицательно покачала головой и села рядом с Петровой.

Я хотел сказать, что она только потерпевшая и на скамье подсудимых ей не место, но, подумав, решил: «Пусть сидят рядом».

— Свидетель Иван Веселов здесь?

Мой вопрос был встречен дружным хохотом. Подсудимая вскочила, взмахнула платком и, блестя полными слез глазами, закричала:

— Нету-ти больше Ваньки-то, гражданин судья. Ванька-то наш на машину и аля-ту-ту поехали.

— Как ту-ту? Куда? Зачем? — растерянно пробормотал я, ошарашенный решительным напором подсудимой.

— А кто его знает, куда. Известное дело, от суда, от сраму сбежал.

И тут вскочила потерпевшая. Все у нее тряслось: и кофта, и руки, и губы, и голос.

— Врет она, гражданин судья. От нее сбежал, замучила парня.

Подсудимая, подбоченясь, тонула ногой.

— Как бы не так, от меня. Да спроси у кого хошь, кто ж от такой сласти побежит.

Потерпевшая Наташка Комарова оглядела ее с ног до головы и презрительно плюнула:

— Квашня.

— Головешка черномазая.

— Свинья кособрюхая

— Шкилет сухоребрый.

Они принялись поносить и честить друг друга с изумительной изобретательностью русского человека на словечки и прозвища.

Они потом мгновенно изготовились к бою и, конечно, вцепились бы друг другу в волосы, но я пригрозил им штрафом за недостойное поведение в суде. Они притихли, закрылись платками и уселись на скамейку. И так каждый раз, когда их темперамент начинал хлестать через край, я напоминал им о штрафе, и это действовало, как ушат ледяной воды.

— Гражданка Петрова, — обратился я к подсудимой, — вы признаете себя виновной в том, что нанесли телесные побои своей соседке?

Подсудимая изумленно всплеснула руками и нараспев протянула:

— Царица небесная, ну и бессовестная. Она же первой начала таскаться. Поглядь-ка, товарищ судья, как она, Наташка, двинула холодным сапогом под это место. До сих пор сине, — она схватилась за юбку, чтобы показать, где у нее сине, но я поспешил остановить, сказав, что суд ей и так на слово верит. Моя снисходительность к подсудимой больно задела потерпевшую. Она опять вся затряслась и, глотая слезы, бессвязно залепетала с упорным желанием выдавить у суда жалость.

— Не я начала таскаться. Она сама первая, гражданин

судья. Я и не думала ее ударить. А если так и получилось, то не нарочно, а случайно. Разве я не знаю, что за такие дела можно срок получить.

Подсудимая злорадно заулыбалась.

— Ха, случайно! Знаем мы, как за случайно бьют отчаянно. Вот они доказательства: тут, — она похлопала по бедру, — да еще и тут. — И, порывшись в лифчике, вытащила крохотную бумажку и помахала ею перед носом соперницы: — Вот она, справочка от доктора. Мы тоже не пальцем деланы и законы знаем. Так что вместе чудили, вместе и клопов давить будем, моя милая Наташенька.

Наташенька, сверкая глазами, злобно процедила сквозь зубы:

— Суд еще посмотрит, чей козырь старше, — и вытащила из-за пазухи горсть волос и изорванную в клочья кофту. — А еще она, гражданин судья, повалила меня на землю, топтала ногами, царапалась и все старалась задушить. Поглядите, как она своими граблями разуделала мне шею. А груди так болят, что и дохнуть нет никакой возможности. Так вот, дорогая Машенька, суд знает, кому больше давать.

По всему выходило, выражаясь словами Наташки, «давать» надо было обеим.

Хоть и так было ясно, но вопрос: «Из-за чего произошла драка», как зуд, защекотал мне язык. И я задал его. Да простят потерпевшая с подсудимой мне молодость и шаловливое любопытство.

Мария Петровна нехотя поднялась и, не поднимая глаз, тихо ответила:

— Из-за Ваньки Веселова.

— А кто он?

— Шофер здешнего леспромхоза.

— Что у вас с ним было?

— Любовь. Он обещал жениться на мне.

— Вам он тоже обещал? — спросил я потерпевшую.

Она кивнула головой и всхлипнула:

— Обещал и даже раньше, чем Машке. А потом она его запутала. Парень-то уж больно слабохарактерный, гражданин судья.

— Ничего себе слабохарактерный. А прижмет так, что пуговицы с лифчика как горох посыплются, — возразила подсудимая, и сельсовет задрожал от хохота.

Я сделал от имени суда строгое предупреждение подсудимой и опять обратился к потерпевшей:

— И вы знали, что он одновременно и к ней, и к вам ходит?

Она удивленно посмотрела на меня и улыбнулась.

— Так об этом все знали, гражданин судья.

— И вы его все-таки продолжали любить и надеяться?

— Что делать, гражданин судья. Я ведь человек-то живой, — и тяжело вздохнула.

В ее откровенно простодушном признании было столько еще нерасплесканной страсти, искренней неподдельной любви и безысходной тоски по своему маленькому счастью, что я вздрогнул и невольно взглянул на непреклонную. Ее лицо выражало то же самое. Мне стыдно и за себя, и за свои неумные каверзные вопросы стало, да и за весь этот суд, который ничего не мог принести, кроме горечи, обиды и незаслуженного оскорбления.

Суд предложил им [illegible] миром. Они упали друг другу на грудь, [illegible] и, обнявшись, вышли на улицу.

— Неразлучные [illegible] были, — после длительного молчания сказал кто-то.

— Помирятся. Теперь им делить нечего, — добавил другой.

— А бабоньки-то они славные: добрые, старательные. А вот видишь, как их судьба-то обошла, — сказал мой заседатель и щелкнул языком, — судьба-злодейка.

А бородатый старик, сидевший в углу около печки, глухим басом авторитетно изрек:

— Во всем виновата эта война распроклятущая. У меня тоже сноха с тремя ребятишками мается.

По второму делу мне тоже удалось заключить счастливый мир. Это дело было одновременно и бракоразводное и алиментное.

Гражданка села Озерки Зинаида Олеговна Хотелова подала в суд заявление о расторжении брака с мужем, гражданином Хотеловым Степаном Григорьевичем, и взыскании алиментов на содержание малолетнего сына Тимура Степановича. Когда я зачитал длинное и грозное заявление иска, к столу протискались стороны: Он, Она и их неопровержимое доказательство — Оно. Я взглянул и ахнул от изумления. Ответчику, то есть мужу Степану Григорьевичу, еще было бы незазорно и по яблоки лазать, а истице — прыгать через веревочку. Так они молодо выглядели. Между ними стоял, держась за батькин карман,

краснощекий карапуз в немыслимом по размерам колпаке, а на шее у него висела, как громадная медаль, желтая клеенчатая слюнявка.

Несмотря на свою молодость, супруги были очень серьезны. Видимо, они сознавали важность, ответственность своей затеи.

— Сколько же вам лет? — спросил я.

Степан Григорьевич не торопился с ответом. Придав лицу деловое и озабоченное выражение, то есть наморщив лоб, опустив углы губ и нарочито солидно растягивая слова, ответил:

— Мне, товарищ судья, скоро будет девятнадцать. Зинаиде Олеговне, жене моей, недавно исполнилось совершеннолетие. А сыну нашему, Тимуру Степановичу, два года, — он нагнулся и вытер ладонью Тимуру Степановичу нос.

— И когда же вы успели обзавестись наследством? — удивленно спросил я.

— То есть вы, гражданин судья, имеете в виду нашего Тимура? — не теряя степенства, переспросил Степан Григорьевич и пояснил: — Мы только как месяц назад в сельсовете сочетались законным браком. А до этого существовали в незаконном браке.

— Ну вот, не успели расписаться, а уже разводитесь. Куда же это годится, Степан Григорьевич? Ведь это же очень нехорошо, — заметил я.

Степан Григорьевич покачал головой и как старичок сокрушенно вздохнул:

— Она очень молода, гражданин судья. Я так думаю, и глупа поэтому.

Истица фыркнула в нос и, рассекая ладонью воздух, категорически заявила:

— Пусть я буду самая распоследняя дура. А все равно с тобой жить не буду.

— Это почему же? — спросил я.

— Дерется он, как самый последний мужик. А еще десятилетку закончил.

Степан Григорьевич свою роль разумного хозяина и строгого мужа вел с уморительной солидностью. Зинаида Олеговна изображала глубоко оскорбленную в своих лучших чувствах супругу. А суд походил на спектакль, в котором дети с комической серьезностью разыгрывали для взрослых семейную драму.

— Я, гражданин судья, не дрался. Потому что драть-

ся с женщинами не мужское занятие. А учил я ее уму-разуму, — степенно рассуждал ответчик.

Когда я спросил у него, в чем выражалось его учение, он пояснил так:

— Пришел я это, товарищ судья, со службы домой. А служу я в лесничестве, при бухгалтерах состою. Пришел я домой и вижу, простите за грубое слово, полный хаос, дверь раскрыта настежь, изба полна кур, собака позволяет себе спать на нашей новой с пружинным матрасом кровати. Тимур сидит под столом, плачет и весь запачкан, извиняюсь за некультурное выражение, собственным поносом. Перво-наперво ликвидировал этот хаос, а потом пошел разыскивать жену. А вы знаете, где я ее нашел? На самом краю деревни у своей незамужней подружки Лидки Хреповой. А чем занимались?.. Срам сказать. Отплясывали под патефон танцы с фокстротами. Дело ли это, товарищ судья, для замужней женщины? Я так думаю, что не дело. И это было не в первый, а в третий раз. В первый раз я ее просто предупредил, потом предупредил крепко, а в третий раз взял за волосы и повел по улице до самого дома. Она выла как зарезанная и, конечно, нарочно притворялась, потому что, между прочим, я ее не таскал, а только слегка держал за волосы. И вот видите, вместо того чтобы извлечь из моего урока для себя пользу, она затеяла этот скандальный суд. Так что, товарищи судьи, я категорически против развода.

— Что бы ты, Степа, ни говорил, но после такого сраму я с тобой жить не буду. Разводите нас, граждане судья, по всем законам, — капризно потребовала истица и поджала губы.

Я усмехнулся.

— А не лучше ли помириться, Зинаида Олеговна?

— Ни за что и никогда, — запальчиво выкрикнула Зинаида Олеговна и, смахнув с ресниц слезу, добавила: — Я вся оскорблена и обесчещена.

Однако разводить их мне не хотелось. Да и все, кто присутствовал на суде, не хотели этого, и, конечно, больше всех Тимур. Он уже побывал на руках у отца, потом перебрался к матери, хватал ее за нос, теребил волосы, а она поминутно целовала его и гладила.

Примирение — дело не из легких. Как правило, уже разведенные супруги мирятся дома. В суде же почти никогда.

Я рисовал истице ужасы одиночества, запугивал труд-

ностями, стыдил, уговаривал, просил. Меня активно поддерживали заседатели, а потом начали уговаривать, стыдить и убеждать зрители. И Зинаида Олеговна стала помаленьку сдаваться. Она еще продолжала негодовать и страдать, что женская гордость ее погублена, душа оплевана и чувства растоптаны грубым мужицким сапогом. Но гнев и страдание теперь звучали, как награда своему самолюбию. Она находила в них облегчение, и радость, и наслаждение. И наконец, она, счастливая и румяная, как кукла, с притворной милостью согласилась на примирение. И все, кто был в сельсовете, радовались. А я больше всех. И не потому, что мне удалось помирить эту наивную смешную супружескую пару, а еще и потому, что разбуженное природой Я помогло мне сделать что-то большое и доброе.

Когда мы с секретарем возвращались из Макарьева в Узор, то опять повстречали чету Хотеловых. Они выходили из лавочки сельпо. Степан Григорьевич согнулся под тяжестью покупок. Одной рукой он придерживал на плече железное корыто, в котором громыхали два больших чугуна, ведро и стиральная доска. В другой руке он нес банку с керосином, а на шее болтался допотопный фонарь «летучая мышь», который можно еще найти в наших далеких глухих деревушках. Зинаида Олеговна несла крохотный узелок в белом платочке и тащила за руку Тимура. Он волочил ноги и грыз серый и твердый, как кусок штукатурки, пряник. Они прошли мимо, даже не взглянув на меня, а может быть, просто не заметили. Я же долго смотрел им вслед, улыбался и думал: «А все-таки, наверное, хорошая, черт возьми, эта штука — мир!»

ИЮНЬ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

В окно моей комнаты видны железнодорожная насыпь, будка на ней, два куста вербы и лоскут белесого неба.

Утро. Солнце насквозь прожигает стекла, в комнате светло и жарко. Васюта под окнами кормит кур. Я знаю, что она сейчас придет и расскажет какую-нибудь новую историю.

— А вчерась-то... Не слыхали? — начнет она. — Аптекарь чуть не утонул. Налил глаза и пошел в баню. А около бани яма. Он в эту яму с пьяных глаз нырнул и не вынырнул. Почти мертвого вытащили и на «скорой помощи» увезли в приемный покой. Положили там его на стол, за-

вернули рубаху и только было хотели по евоному животу ножом полоснуть, а он очухался, открыл глаза и начал потихоньку матюкаться. Во сраминк-то. Говорят, весь спирт в антеке вылакал.

Потом Васюта побежит к соседке, Наталье, а от нее к подружке Марье. И каждый день будет передавать эту историю по-новому. И покатятся по Узору самые невероятные легенды об утоплении бедного аптекаря. Хотя это никакая не история и даже не событие. Обыденный серенький случай. Пошел аптекарь в баню, на мостках оступился и упал в яму, сильно ушибся и его отвезли на машине в больницу. Меня всегда возмущала мещанская страсть находить в человеке только плохое и радоваться этому и раздувать до неслыханных размеров. Одни это делают из злобы, другие ради забавы, третьи — так просто, и сами не знают для чего. Этим грешат не только мещане, но и интеллигентные образованные люди. В институте один кандидат юридических наук читал нам лекции о преступлениях на почве половых извращений. Примеры он брал из личной, интимной жизни замечательных людей. С каким удовольствием он смаковал все дурное, словно бы он сам подсматривал все это в замочную скважину. И мы, студенты, вместо того чтобы оборвать пошляка, слушали его восхищенно, раскрыв слюнявые рты. Почему же это так получается? Почему мы не ищем с таким усердием в человеке хорошие, добрые начала и не развиваем их? Уверен, если бы мы так поступали, и жизнь наша была бы намного светлее и отраднее...

Выходной день. Скука. Не знаю, куда деваться от тоски. Симочка давно уже мне не пишет. Что с ней? Помнит ли она меня? Ее наивный, милый упрек: «Ах, Семен, зачем?» — я повторяю теперь по нескольку раз в день.

Разыскиваю последнее ее письмо, читаю — в какой уже раз — исписанный Симочкой тетрадный листок, так мелко, словно бисером усыпанный. В нем много ошибок. В первый раз, читая, я подчеркнул их красным карандашом. Тогда это мне доставило какое-то удовольствие. А теперь я об этом жалею. В этом же письме она грозилась скоро приехать. Но прошло пять месяцев, она не едет и не пишет. Какое-то смутное предчувствие беспокоит меня. Почему характер Васюты с каждым днем черствеет и портится? Разговаривая со мной, не смотрит в лицо, поджимает губы, слова роняет, как драгоценные капли. На днях потребовала деньги за квартиру уплатить за месяц вперед.

А вчера заявила, что мясо на рынке подорожало. Черт с ней, с Коснхой и мясом, буду ходить в чайную. А приедет Симочка, и все само собой уладится. Но почему же она не пишет? Я теперь очень люблю Симочку. А может, это все только кажется, и мои страданья нечто иное, как тоскливая блажь. Почему ж я тогда все время думаю о ней? Разве мало в Узоре хороших девушек. А вот меня тянет к ней. Симочка ничуть не красивее, не добрее, не умнее своих подруг. Но у нее есть то, чего нет у других. А что это, я затрудняюсь объяснить. Она вся какая-то уютная. А мне этого уюта очень не хватает. Вот почему, мне кажется, я о ней думаю. Думает ли она обо мне? Надо выяснить немедленно, сейчас же, иначе будет поздно.

Я сажусь сочинять письмо. «Симочка, здравствуй...» В голове вихрем кружится: «милая», «любимая», «радость», «голубка», а сбросить их с пера на бумагу не хватает сил.

По радио исполняют фортепианный концерт Шопена. Дивная неземная музыка захватывает меня, и я забываю и о Симочке, и о Васюте, и о своей скучной неуютной жизни. Я слушаю без волнения, без радости, уронив на стол голову. Пианист едва касается пальцами клавиш, а мне больно, словно он бьет по сердцу. Музыка смолкла, и мне так грустно, словно мимо промелькнуло что-то неповторимо прекрасное.

Вошла Васюта и остановилась в дверях комнаты, держа руки под фартуком.

— Завтрак-то готовить, или в чайную пойдешь? — и ушла, что-то бормоча под нос.

Я скомкал письмо, швырнул его в печку, оделся и пошел в чайную.

По случаю воскресенья чайная пустовала. У входа дежурил хромой бездомный дворянин Пират. Обычно, когда в чайной народу невпроворот и официантки мечутся как угорелые, Пират околачивается меж столов, с успехом нищенствует.

В просторной с низкими потолками комнате словно голубая кисея висел кухонный чад, пахло дымом, луком и еще чем-то таким не съедобным. В дальнем углу Рассказов, уполномоченный по сенозаготовкам, пил водку. Он уже третий месяц безвыездно живет в Узоре и с утра до вечера просиживает в чайной. Прокурор на него поглядывает с вожделением. Да и мне кажется, что он, видимо,

не в ладах с уголовным кодексом. За другим столом Ольга Андреевна Чекулаева отчитывает повара Федю Тюлина. Федя стоит перед ней навытяжку и, как солдат, повторяет одно и то же:

— Так точно. От нас не зависит.

— А грязь от вас тоже не зависит? — спрашивала Ольга Андреевна.

— Так точно. Это дело официанток. — бойко отвечал Федя.

— А плохие обеды тоже от вас не зависят?

— Так точно. Не зависят.

— От кого же тогда?

— От потребсоюза. Что дают — из того жарим, парим, варим.

— А мухи в борще от кого зависят? — Чекулаева подцепила ложкой муху и поднесла под нос повара. Федя даже не моргнул и бойко заявил:

— Это не муха, а жареная луковка.

Ольге Андреевне пришлось пригласить свидетелей: меня и Рассказова. Под строгим надзором шести глаз Федя стал близоруко и внимательно изучать муху.

— Ну да, луковка, самая настоящая подгорелая луковка. Откуда же тут мухе быть? Разве что с потолка свалилась.

Ольга Андреевна приказала Феде немедленно убрать тарелку с борщом. Федя взял тарелку и ворча, что надо самой дома обеды готовить, а не по чайным шляться, пошел на кухню. Рассказов, глядя ему вслед, мрачно сказал:

— Таких подлецов надо лупить и вешать.

Аппетит у Ольги Андреевны пропал. Она отказалась от борща с гуляшом и выпила один лишь стакан чая. Я же от роду не брезглив. Что мне муха, когда я пережил ленинградскую блокаду и оконы синявинских болот. Но из солидарности тоже не стал обедать. Только вместо чая заказал бутылочку пива. Рассказов, увидев такой оборот дела, попытался перекочевать за наш стол. Ольга Андреевна спросила: «Зачем?» — и он, не зная, что на это ответить, удалился в свой угол допивать водку.

Время уже подходило к полудню. Я пожаловался Чекулаевой на тоску и скуку. На это Ольга Андреевна ответила, что и ей хотелось бы немножко поскучать, да нет ни минуты свободного времени.

— Отчет о работе парткабинета готовить надо? Надо. Статью в газету написать надо? Надо, Семен Кузьмич,—

улыбнулась она и загнула второй палец.— В среду опять занятие по марксизму, и к экзаменам в институт готовиться ей как надо! Сессия на носу, а у меня еще и конь не валялся. Когда же тут скучать, когда на сон не хватает времени. Жаловаться на скуку с тоской могут только бездельники да пустые люди.

Я хотел ей возразить, но она меня перебила:

— А ты что, не можешь найти себе в выходной день разумного дела? Не можешь? — И, не ожидая моего ответа, заявила: — Так я это дело тебе сейчас подберу. Поезжай в свой колхоз и проведи занятие с коммунистами.

Я сказал, что у меня занятия по пятницам. Она усмехнулась:

— Знаем мы эти пятницы. Уверена, опять не поедешь, скажешь, что завален делами. Ты и так уже подряд четыре занятия пропустил. Смотри, как бы на бюро не вытащили. По-хорошему поезжай. Теперь тебе и ехать-то недалеко. Каких-то пятнадцать километров и поездом.

Время до вечера девать некуда. Погода отменная: полное безветрие и солнце. Оно захватило все небо и нестерпимо колет поселок жгучими лучами. Воздух застыл, и Узор как будто вымер. Пират от жары дышит, как загнанный. Язык у него изо рта вывалился и болтается, как тряпка. Около чайной куры лениво перетряхивают лошадиный помет. На самой макушке высоченной ели чучелом торчит ворона. Ей даже каркнуть лень. Ни писать, ни читать, ничего не хочется, и спать тоже. И в самом деле, почему бы не поехать в колхоз? Провести занятие и — гора с плеч.

Иду на станцию и успеваю как раз к приходу поезда. Поезд стоит в Узоре одну минуту, и билетов в летнее время на него не бывает. Но это меня не волнует. Перехожу на другую сторону поезда, степенно прогуливаюсь вдоль вагонов и, как только они трогаются, вскакиваю на подножку, а следом за мной вскакивает парень в темно-синем костюме.

Паровоз набирает скорость, мелькает семафор, будка, Васюткин дом, придорожный кустарник. Упругий прохладный ветерок хлещет в лицо, пузырем надувает рубаху. Чудесно. Усаживаюсь поудобней на подножке, закуриваю. Парень тоже закуривает и косо поглядывает на меня.

— Далече?

— До «Новой жизни».
— Зачем?
— По делу.
— А кто вы будете?
Мне почему-то стыдно признаться, что я судья.
— Инструктор.
Парень смотрит на меня в упор и сплевывает окурок.
— Инструктор? Понятно... А какой инструктор?
Врать так уж врать до конца.
— По физкультуре.
Парень усмехается.
— И давно?
— Что давно?
— Инструктором стали?
— А вам какое дело?
Глаза у парня стекленеют.
— Хватит врать, [illegible] Бузыкин, кажись? Ну, что смотришь. — И он невесело усмехнулся. — Своих не узнаешь. Пуханов я. Судил меня год назад за хулиганство.

Мне показалось, что поезд споткнулся и пошел назад. Я схватился за поручень с такой силой, что в глазах потемнело. Я онемел от страха. Да и как не онеметь. Преступник и судья на одной подножке поезда.

Это случилось в Павском сельсовете. История и трагическая, и до тривиальности заурядная. Пуханов, он, кажется, тогда был трактористом, ходил в женихах. Его невеста, редкой красоты девушка, но избалованная и пустая, работала секретарем директора МТС. Ее словно бы слепили из нежного теста. Кожа ее тела казалась то смуглой, то светлой. Цвет глаз уловить было почти невозможно. Темнота их в одно мгновенье сменялась синевой, синева — прозрачной голубизной, порой они становились золотистыми и в ту же минуту гасли, становились темными, глубокими, как омут. У нее все было легкое: и фигура, и походка, и особенно взмах рук, которые напоминали крылья. Одновременно она была избалованна и пуста, как драгоценная шкатулка на выставке.

Пуханов, парень видный, отчаянного нрава, любил ее до безумия. Об этом можно судить по преступлению, которое им было совершено из ревности. Оно отличалось невероятной дерзостью и опасностью.

Незадолго до свадьбы внезапно появился молоденький лейтенант. На нем все блестело: сапоги, погоны, пуговицы, кокарда и даже козырек фуражки с бархатным око-

лышем. Этот блеск затмил солнечный свет, и голова секретарши закружилась.

Поначалу тракторист не обращал на это особого внимания. Правда, он делал намеки при удобном случае намылить лейтенанту физиономию. Может быть, не было бы тогда ни суда, ни скандала, шум которого прокатился по всему району.

Прошла неделя, другая, и до Пуханова дополз слушок, что его невеста уезжает навсегда с лейтенантом.

Секретарша устроила не то помолвку, не то просто вечеринку. Хотя отвергнутый жених и не был приглашен, но он явился с компанией дружков и выпивкой. Невеста перепугалась, но Пуханов заверил, что пришел гулять по-хорошему. И все было бы хорошо. Тракторист вмиг подружился с лейтенантом, за столом сидел с ним в обнимку, пил осторожно, был весел, остроумен, громче всех пел и ловчее всех плясал. Начались танцы. И тут секретарша все испортила. Пуханов пригласил ее на вальс, но она ему отказала и бросилась в объятия лейтенанта. Пуханов и это стерпел. Но когда она, танцуя, стала целоваться с офицером, нервы у Пуханова лопнули, как перетянутая струна, со звоном и грохотом.

В суде Пуханов рассказывал: «Меня словно кто ударил по голове, все завертелось, в глазах потемнело, и я полетел в какую-то пропасть». Он схватил стол и с невероятной силой ударил его об пол. Стол крякнул и развалился на куски. Гости бросились вон, давя у двери друг друга. Первым выскочил лейтенант без шапки и шинели. Пуханов носился по дому, как ураган. Бил, громил, топтал, корежил. Когда уже больше бить и ломать было нечего, он сорвал с петель дверь, унес на спине и бросил в реку.

В суде Пуханов держался вызывающе. В последнем слове заявил, что он ни в чем не раскаивается, и если бы в ту пору ему под руку попал лейтенант, он его бы наверняка укокошил. Лейтенант на другой же день после скандала уехал. Когда я стал допрашивать секретаршу, она вся затряслась, заплакала и попросила простить его. Пуханова осудили на год лишения свободы. Он выслушал приговор и удивленно спросил:

— За что? За разбитые горшки? А что тут разбито вдребезги, — он постучал кулаком по груди, — так это вам ничего. Эх, вы, судьи!

Милиционер тронул его за рукав и сказал: «Пойдем».

— Пойдем,— вздохнул Пуханов и погрозил кулаком:— Погодите, отбуду срок — я вам все припомню!

Милиционер завернул ему руку за спину и вывел на улицу.

И вот через полтора года его угроза сверкнула, как молния среди ясного неба. Я мертвой хваткой вцепился в поручень и сжался в комок, думая, если он меня прирежет, то не просто будет ему сбросить меня с подножки. А Пуханов насмешливо сквозь зубы цедил:

— Судья и преступник на одной подножке поезда. Вот так встреча. Расчудесные чудеса.

Я его плохо слушал. Страх отнял у меня способность думать, понимать, соображать. В голове вертелась одна дикая мысль: махнуть с подножки под откос. Но поезд шел быстро и как раз по тому перегону, который здешний народ прозвал «проклятым». Зимой здесь погиб парторг колхоза «Новая жизнь». Он возвращался домой глубокой ночью в снежный буран с бюро райкома. Партерг шел по рельсам против ветра, закутав голову башлыком. Поезд подкрался сзади и раздавил его, как муху. А осенью на ходу из товарного вагона вывалилась свинья, и совсем недавно на этом перегоне паровоз сбросил с рельс корову. Только бы проскочить этот проклятый участок, там начнется подъем. Я мысленно молил бога, подгонял и торопил поезд. Пуханов, казалось, не обращал на меня никакого внимания. Сидел он на ступеньке, сгорбясь, втянув голову в плечи. Но вот он пошевелился, кинул на меня косой взгляд и сунул руку в карман. И в то же мгновение какая-то неведомая сила толкнула меня с подножки. Я очень плохо помню, как это получилось... Его рука, схватив меня за воротник, придавила к ступеньке. Лицо у него бело, как мел, а в расширенных веках вместо глаз метались огромные белки. Пуханова трясло. Он долго не мог поймать в пачке папиросу. Наконец это ему удалось, и он в пять глубоких затяжек выкурил ее. Я чувствовал себя так, словно меня опустили в парное молоко.

Накурившись, Пуханов несколько успокоился и, покачивая головой, стал размышлять вслух:

— Ну и ну... Вот так дела... Час от часу забавней. С чего это он... Жить, что ль, надоело... — И вдруг резко спросил: — Испугался? Меня?

Я не ответил. А что я мог ему сказать?

А Пуханов продолжал рассуждать:

— Вот люди, только о себе думают. — И опять обра-

тился ко мне: — Если бы ты, судья, разбился, мне бы была последняя амба. Наверняка приписали бы убийство. Просто ужасно подумать. — Он весь содрогнулся и с горечью произнес: — А я там как зверь вкалывал, чтоб досрочно освободиться. А тут, — и, не договорив, махнул рукой.

Начался подъем. Поезд, сбавляя скорость, лязгая буферами, дергался, как ушибленный.

Пуханов встал, с презрением посмотрел на меня и плюнул.

— И ехать-то с тобой противно. Того и гляди еще какую-нибудь штуку выкинешь, — сказал он и прыгнул с подножки, несколько шагов пробежал за вагоном и упал. Он лежал плашмя, не двигаясь, а потом медленно поднялся и стал тереть ушибленное колено.

Мне теперь ничто не угрожало. А мне было так плохо, словно я совершил непростительную подлость. Когда я вспоминаю этот дорожный случай, меня передергивает как от озноба... И в то же время этот случай заставил меня смотреть по-другому на человека. В самом плохом, отвратительном я пытаюсь отыскать хоть крупицу доброго, хорошего. И когда мне преподносят человека, как пример идеальности, я этому так же не верю, как и не верю, когда мне говорят о человеке, как о кладезе зла и пороков.

МОЛОТЬБА

Уборка хлеба поспела как раз к ильину дню. Илья в Узорском районе празднуется широко и буйно. После него Магунов пожинает богатую ниву. Он заваливает суд делами, связанными с самогоноварением, хулиганством, драками и даже убийством.

Ученые сделали удивительные открытия в химии, астрономии, биологии, медики умудрились заставить биться сердце в холодной стеклянной банке, оживлять мертвых, физики проникли в сокровенные тайны атома. Но ничего до сих пор не предприняли радикального против такого древнего и страшного яда, как алкоголь. Борются с ним такими же методами и способами, как с насморком или с головной болью. Чаще всего говорят: «Не пей». Но это все равно, что сказать больному: «Не болей».

То, что зараженный алкоголем пьет — не вина только, но и беда его. Я против всякого употребления алкоголя, как умеренного, так и неумеренного. Между ними трудно

провести границу. Как умеренное, так и не умеренное парализует психику и разрушает организм. Теперь-то я знаю, что преступления чаще всего совершаются не в состоянии глубокого опьянения, а под «хмельком».

Борьба с религией в нашем районе, да и в соседних, сводится к читке лекций, докладов, бесед. Вызывают в райком завсберкассой Авенира Агеича Темкина, дают строгое задание: «В колхозе «Красный партизан» завтра праздник «Десятая пятница». Выедешь сегодня, проведешь антирелигиозную беседу, а с утра организуешь стопроцентный выход людей на работу».

Темкин пытается всячески отвертеться. Ссылается на срочные дела в сберкассе, потом на свою болезнь, потом на болезнь жены и ребятишек, наконец, на свою малограмотность. Когда все уважительные и неуважительные причины исчерпаны, Авенир Агеич прибегает к прямым угрозам.

— Хорошо, я поеду. Но вы же знаете мою слабохарактерность...

В ту же минуту Авенира Агеича сражают наповал: «Смотри — положишь партбилет»,— и покоренный Авенир, прихватив в библиотеке брошюру «Религия — опиум для народа», выезжает в колхоз.

В трех километрах от поселка находится Малый Узор. Там стояла большая деревянная церковь. Постановили эту церковь разобрать, перевезти и построить из нее районный Дом культуры. Сколько было потрачено сил, чтобы ее сломать и перевезти. И вот она уже второй год лежит бесформенной грудой на пустыре, и жители потихоньку растаскивают ее на дрова.

За день до ильина дня я получил обычные инструкции и строгий приказ не выезжать из колхоза до особого распоряжения; организовать там уборку хлеба и сдачу его государству.

Прежде чем ругать бога, надо кое-что о нем знать. А то можно окопфузиться, как окопфузился у нас один весьма почтенный лектор, специалист по антирелигиозной теме.

Ругать бога в деревне — дело нелегкое, тут ждут тебя самые неожиданные сюрпризы. Наш колхозник за словом в карман не лезет. Правда, его юмор далек от «английского». Он малость тяжеловесен, зато крепонек. Если врежет, то долго будешь чесаться и ежиться.

Так вот, этот почтенный лектор, а он действительно

был почтенный: не пил, не курил, носил пенсне, однажды, окончив лекцию и получив должную порцию аплодисментов, по обыкновению, спросил: «У кого будут вопросы?» Эту фразу он произнес не потому, что лектору хотелось вопросов, скорее, наоборот: сказал просто так, ради заведенного порядка. И уже уверенный, что никаких вопросов не будет, лектор поклонился, взял шапку, и вдруг неожиданно к столу протискался неказистый на вид старикашка, с бельмом на глазу. Он чем-то напоминал кактус: такой же сухой и колкий. Вид у него был настолько обшарпанный и жалкий, что лектору стало почему-то совестно за свое драповое с каракулевым воротником пальто.

Старикашка подергал свою бороденку, похожую на жидкий пучок кудели, и гугняво сказал, что есть вопросишко, но задать его боится, так как этот вопрос сверезный, а выражаться по-культурному он не умеет.

Лектор подбодрил старичка, заверил, что ему бояться нечего, всякий вправе выражаться так, как он умеет, да и вообще дело не в форме, а в содержании. Ободренный и обласканный старичок спросил, видел ли он, лектор, как ходит корова по большой нужде. Лектор сказал, что он видел, как корова ходит по большой нужде, и даже не один раз. Тогда пастырный старикашка спросил, как ходит по этой нужде овца.

— Горошком, — уверенно ответил лектор.

— Так, так, правильно, горошком, — прогнусавил старик, прищурив здоровый глаз и сверкнув бельмом — А почему корова ходит лепешками, а овца горошками?

Озадаченный лектор пустился в пространные толкования о биологических свойствах разных организмов, запутался и сказал, что к этому вопросу он не готов, а в следующий раз он на него обязательно ответит. А старикашка с искренним сожалением покачал головой и сказал:

— Эх, товарищ, товарищ. Сам в дерьме не разбираешься, а нам о боге толкуешь.

Мне не хотелось иметь славу почтенного лектора, и я решил серьезно подготовиться к беседе с колхозниками. Если уж нападать на бога, так с оружием в руках. И решил я засесть за Библию. С Библией я познакомился в детстве, когда еще был жив мой набожный дед. Это грозная тяжелая книга с медными застежками тогда мне внушала невольный страх. Дед заставлял читать Библию вслух. К концу жизни он совершенно ослеп. А чтение священных писаний было для него единственной усладой.

Вначале я ее читал безропотно, с уважением, потом к ней привык, а потом возненавидел. И как только наступал час для принятия этой духовной пищи, я улепетывал из дома. Но все-таки дед опять меня усаживал за Библию, и я ее три дня читал с усердием, получая каждый раз рубль, а на четвертый день потребовал два рубля, потом дошел до трех, и дед платил исправно, но только каждый раз крякал и шептал себе под нос: «Прости ты нас, господи, грешных». Но когда я потребовал пятерку, набожная душа деда возмутилась. Он обозвал меня антихристом и отпустил увесистую затрещину. Я и сейчас удивляюсь, как это он сослепу сумел так ловко звездануть мне по уху.

Конспект своей лекции я готовил с дальним прицелом, рассчитывая, что мне ее хватит если уж не до конца жизни, то по крайней мере на весь период службы в Узоре. Получился весьма объемистый трактат против бога, но похвастаться им мне так и не удалось.

В село Юшки я прибыл в канун праздника под вечер. Пастух гнал на покой стадо. Густая пыль поднималась из-под копыт клубами и повисла над домами плотной серой завесой, сквозь которую с трудом просачивались жидкие желтоватые потоки солнца. Ветра не было. Все предвещало на завтра отменную погоду. Стрижи вились высоко, дым из труб поднимался винтом, на небе растаяло последнее облако, над низинами навис туман, и солнце, заливаясь мягким румянцем, осторожно, словно бы боясь уколоться, садилось на темный гребень леса.

По запахам, оживленности было заметно, что в Юшках готовятся к чему-то необычному. На реке ребятишки надраивали песком медные самовары. Везде мылись полы и дружно топились бани. Начинали заваривать студень. В лавочке сельпо стояла очередь за мелкой ржавой рыбешкой. Нарасхват брались твердые как камни пряники и шоколадные конфеты. Все старались вывернуть свои карманы наизнанку.

Бригадир Костя Говоров, качаясь, брел посредине улицы. И если бы у него в карманах не торчало по бутылке фруктового вина, то он наверняка бы потерял равновесие и свалился.

Председатель колхоза Ипполит Васильевич Ласточкин знал о моем приезде и встретил меня радушно. Но когда я ему сказал, что надо идти собирать на лекцию народ, мгновенно скис. Я отлично понимал его положение.

И в обычный-то день вытащить колхозника на такую лекцию задача не из легких, а в праздник... Я заколебался, а Ипполит Васильевич поднажал:

— Эх, Семен Кузьмич... Зачем бередить нервы себе и другим. Пойдем-ка лучше в баньку.

Парились до одурения. Баня стояла на берегу реки. Обессиленный, я выползал из нее, с обрыва бросался в воду и плавал до тех пор, пока у меня не начинали стучать зубы, а потом опять забирался на полок. Ипполит Васильевич столько нагонял пару, что, будь баня на колесах, она б поехала. После бани, прихватив подушку с одеялом, я добрался до сарая с сеном и уснул как убитый.

Солнце давно уж взошло, когда я проснулся. Сквозь дырявую, как решето, крышу дождевым ливнем струились его лучи, и весь сарай был испещрен яркими бликами. Под крышей на перекидном бревне сидел голубь-сизарь и, склонив набок голову, пристально разглядывал меня. Я сладостно потянулся, но вспомнив, где я нахожусь и о своих обязанностях, с испугом посмотрел на часы. Шел девятый час..

Солнце ложилось яркими квадратами на пол. В печи трещали дрова, плевался котел и сердито шипели угли. Хозяйка разливала по мискам студень. Ласточкин, в валенках, в грубой нательной рубахе, сумрачный, обгладывал кости.

На мой вопрос: «Вышел ли народ в поле?» — Ипполит Васильевич ответил, что еще не выходил.

— Почему?

— Так ведь же праздник, Семен Кузьмич, — жалобно протянул Ласточкин.

Я напомнил ему о честном слове, которое он мне вчера дал, что колхозники все как один с утра выйдут на косовицу хлеба.

— Зачем же вы обманули меня?

Но председатель ничуть не обиделся на мой резкий упрек и наивно ответил:

— Я ждал, когда вы проснетесь.

— Зачем?

— Чтоб вместе идти по домам, выгонять.

Я опешил.

— Что это, всегда так делается?

— А то как же? Без уполномоченного ни за что не пойдут.

Я пожал плечами и сказал, что в таком случае давно бы надо было разбудить меня.

— Так я и пошел будить, — воскликнул Ласточкин, — и не смог. Уж очень вы, Семен Кузьмич, хорошо спали.

По тому, с каким сладким подхалимством это было сказано, я понял, что он и не думал будить уполномоченного и не разбудил бы его, если бы он проспал в сарае весь праздник.

Пока Ипполит Васильевич умывался, одевался, а делал он все это с нарочитой медлительностью, прошел еще час. И когда мы вышли, солнце уже поднялось высоко и обещало палить и жарить нещадно. Так всегда бывает в августе, когда установится погода, самая благодатная пора для уборки хлеба.

Дойдя до моста через речку, я остановился и, облокотясь на перила, долго смотрел вниз на темную, как густо заваренный чай, воду. Ипполит Васильевич, свесившись, тоже смотрел на нее и вдруг неожиданно спросил:

— А почему китайцы желтые, а индейцы красные?

Я поднял на него глаза.

— А зачем это тебе?

Ипполит Васильевич потянулся, зевнул и махнул рукой:

— А так. Спать хочется.

Я отослал его домой спать, а сам пошел в сельсовет и позвонил в Узор председателю райисполкома, сообщил, что не стал трогать колхозников и разрешил им праздновать все два дня. На это Сергей Яковлевич сказал, что я поступил и гуманно, и глупо, так как разрешения не требовалось: они и сами бы не пошли. А этим разрешением я могу нажить кучу неприятностей.

Два дня в Юшках пили, гуляли, плясали и пели. Я же два дня болтался, как неприкаянный. Правда, мне старались оказывать всевозможные почести, и каждый считал за великую честь усадить за свой стол судью. Но я чувствовал и понимал, что всем тут в тягость. Это омрачало общее веселье и угнетало меня.

Илья в Юшках на этот раз прошел без драк. Но в этом заслуга не Семена Кузьмича, а судьи Бузыкина.

Сразу же после праздника четыре жнейки выехали косить рожь. Но работали вяло, давала себя знать общая усталость. Но через день все вошло в норму, и жизнь в Юшках покатилась по своей глубоко накатанной колее.

Озимые выдались на редкость. По мнению Ипполита Васильевича, на круг по сто — сто двадцать пудов с гектара должны были взять.

Работа шла ходко. Добрый урожай невольно поднимал настроение. В день скашивалось и застоговывалось до трех-пяти гектаров. Колхоз «Новая жизнь» как по пахотному клину, так и по населению, пожалуй, самый богатый в районе. По сравнению с соседями он зажиточнее. Да и сам народ здесь ходит бодро и смотрит весело.

В конце недели из МТС приволокли молотилку. Из района требовали немедленно приступить к обмолоту и сдаче зерна. Ипполит Васильевич помрачнел и захандрил. А мне прямо сказал, что опять все начинается сызнова, как и в прошлые годы. Когда я заметил, что для таких мрачных выводов нет оснований, горько усмехнулся:

— Э, Семен Кузьмич, и в прошлом году урожай был не хуже, а получили на трудодень всего по двести граммов. А почему? Потому что половина погибла на корню, не убрали. А кто виноват? Думаешь, я, председатель, колхозники? Как бы не так. — Он вытащил кисет с табаком, свернул папиросу, закурил и вместе с дымом выдохнул: — Торопиловка во всем виновата. По моему мужицкому мнению, торопиться с хлебом не надо. С нас требуют: молоти и вывози. Всех людей, транспорт мы бросаем на обмолот и вывозку зерна на станцию. А хлеб в это время стоит, осыпается, а если ненастная погода, гниет и погибает. Вот сейчас такая погода, только коси да стогуй. Разве можно упускать это время. А обмолотить и сдать всегда успеем.

Ипполит Васильевич затоптал окурок и выжидательно посмотрел на меня:

— Надо идти наряжать людей к молотилке.

— Погоди, — остановил я его, — попытаюсь что-нибудь придумать...

Я всю ночь ломал голову и наконец решил: продолжать косовицу хлеба и одновременно приступить к обмолоту.

С невероятными трудностями нам с Ипполитом Васильевичем удалось собрать молотильную бригаду. В нее мы нарядили стариков, учителей с ребятишками, фельдшера, кое-кого из дачников и прочей местной аристократии.

«Аристократ» Тимофей Синицын за все годы существования колхоза умудрился не выработать ни одного трудодня. Какие только не принимали меры, чтоб его заставить работать. Поначалу он вывертывался как налим, а потом открыто заявил: «Хоть сажайте, хоть убивайте,

а работать в колхозе все равно не буду». Зимой Тимофей подпольно шьет полушубки, овчинные рукавицы и страшно уродливые меховые шапки; летом промышляет в лесах корье. За недозволенный промысел — портняжество — райфинотдел ежегодно штрафует Тимофея. Но ни разу ему не удалось взыскать этого штрафа. Из года в год растет штраф и не взыскивается. Не с чего! Имущества, которое бы можно было описать, у Тимофея нет. Единственно, что можно описать, — швейную машинку. И вот уже какой год подряд фининспектор гоняется за этой машинкой. И никому неизвестно, где Синицын ее прячет.

Тимофея накрыли в лесу за его криминальным ремеслом: он обдирал елку. Составили акт за порчу строевого леса. И передали мне, как судье. Я предупредил Тимофея, что если он завтра не выйдет молотить хлеб, то акту будет дан должный ход и ему будет крышка.

И вот бригада сколочена. Председатель на укрепление ее подкинул трех колхозников, обещал еще выгнать из конторы счетовода. Я же уговорил принять участие в молотьбе председателя сельсовета с его секретарем.

Ночь я провел тревожно. В голове, как заноза, ныла одна мысль, соберется завтра моя разношерстная бригада или обманет, а перед глазами в темноте отчетливо маячили почему-то две рожи: Тимофея Синицына, одутловатое, с красными, как сырое мясо, губами; и молодой рыжеволосой дачницы: красивое и до бесстыдства наглое. Она приняла нас с Ипполитом Васильевичем в шикарном халате. Под халатом все было так упруго, выпукло и крепко, что когда мы выпустили обойму таких священных слов, как «труд», «совесть», «честь», «долг», «помощь», то они застряли, как пули в глине.

Потом из темноты выплыло грустное заплаканное лицо Симочки, губы у нее шевелились, и она, казалось, шептала: «Ах, Семен, Семен, зачем?»

И я подумал: «Действительно, Семен, зачем тебе все это? Зачем тебе эта бригада? Зачем волноваться, беспокоиться, страдать. И потуги твои, Семен, бессмысленны и жалки. Они лишь способны у одних вызвать усмешку, у других озлобление. Зачем тебе это, Семен? Сидел бы ты в правлении да покрикивал на председателя: «Давай, Ласточкин, коси, молоти, вози...» Или плюнул бы на все, как делают другие «погонялы», сидел бы на берегу речки, удил пескарей...»

Эту ночь я почти не спал. Не давали покоя мысли

г думы. Утром я был приятно удивлен и обрадован. Бригада собралась полностью. Пришел даже дурачок Лутошка, по личной инициативе. Тракторист доложил, что все готово, и в подтверждение своих слов завел трактор. Молотилка завыла, затряслась, загрохотала.

Общее руководство бригадой взял на себя Ипполит Васильевич. Женщин он поставил на подвозку снопов и под соломотряс — отгребать солому. Председателя сельсовета с Тимофеем Синицыным — оттаскивать мешки с намолоченным зерном. Дурачка Лутошку крутить веялку, а ребятишек кидать на сташку снопы. Сам он занял место у барабана, а меня со счетоводом поставил рядом развязывать и подавать ему снопы.

Тракторист завел трактор, засаленный приводной ремень захлопал, как петух крыльями, молотильный барабан взвыл, схватил растрепанный сноп ржи, с хрустом изжевал его и швырнул на соломотряс, а тот с грохотом выбросил на голову женщин. Они подхватили его вилами и, передавая друг другу, отправили в сторону, где намечалось быть скирде. И пошло, только успевай поворачиваться.

Ребятишки со всех сторон кидали на помост снопы, причем стараясь попасть счетоводу в голову. Тот ловил их на лету и швырял мне, а я с размаху обрубком серпа рассыпал их, и мне был приятен хруст тугих связок, а Ипполит Васильевич беспрерывно совал их в ненасытный барабан.

Поначалу работа чем-то напоминала озорную игру. Под утренним прохладным ветерком молотить было легко и весело. Но не прошло и двух часов, как начала одолевать усталость. Своей руки с ножом я уже не чувствовал, перед глазами все заволокло желтой соломой, от воя и грохота заложило уши, и я как будто издалека слышал голос Ипполита Васильевича, который мне кричал прямо в ухо: «Давай, давай, не задерживай!» И я считал: вот минута, еще одна, еще, и я свалюсь и не смогу подняться. Наступил момент, когда мне показалось, что я уже не в состоянии и пальцем пошевелить. И как раз в этот момент заглох трактор. Стало так тихо, словно все замерло.

Счетовод снял рубашку, размазывая по лицу грязный пот и измученно улыбаясь. Женщины, развязав платки, отряхивались. Я же, как деревянный, сполз вниз, упал в солому и лежал не двигаясь. Одни ребятишки были неутомимы. Они поначалу затеяли шумную возню, а потом

принялись задирать Лутоню́шку. Лутоню́шка, двадцатипятилетний парень, рослый и здоровый, был законченный дурак и свой идиотизм усиленно демонстрировал всем на потеху. Он два часа без передышки крутил веялку, и за это никто не сказал ему ласкового слова. Наоборот, когда он сидел, тупо уставясь в землю, какой-то озорник подполз к нему сзади и дернул за косичку волос. Они у него были длинные, грязные и нечесаные. Лутоню́шка взвыл, как сирена, и начал плеваться. И все покатились со смеху. Смеялись и учителя, и председатель сельсовета, и Тимофей Синицын чуть не надорвал живот. Когда озорник попытался еще раз подшутить над бедным Лутоней, Ипполит Васильевич, изловчившись, схватил его за ухо и так вертанул, что тот завертелся волчком. И все опять захохотали. И, насмеявшись вдоволь, стали просить Лутоню поплясать. И Лутоня стал плясать, высоко вскидывая худые грязные ноги с коричневой, как каштан, пяткой, нелепо размахивать руками и гнусаво петь какую-то неразбериху.

Мне было не до концерта. Я с тревогой смотрел на свою ладонь. Кожа у большого пальца вздулась кровяным пузырем.

Пятнадцатиминутный перерыв, и опять молотилка затрещала, завыла, захлопала. В бригаде произошли кое-какие изменения в расстановке сил. Заартачился Лутоня, ему надоело крутить веялку. Спорить не стали. На его место поставили Тимофея Синицына, а Лутоню отослали к председателю сельсовета оттаскивать мешки. Я поменялся местами со счетоводом. Теперь он разрезал снопы, а я ловил и подавал ему их. Теперь ребятишки старались мне попасть снопом в голову. А может быть, они и не старались, может быть, у них это получалось случайно. Один сноп, как бороной, избороздил мне лицо и шею.

Я задыхался от пыли, спина и руки, настеганные колосом, горели, а гора снопов вокруг меня росла и росла. Меня закидывали окончательно. Счетовод тоже зашивался и кое-как тыкал обрубком серпа. Ипполит Васильевич сам руками потрошил снопы, совал их в барабан и отрывисто покрикивал: «Давай, давай, не задерживай...»

И, как в первый раз, в самый критический момент, когда я уже падал, тракторист внезапно остановил молотилку...

За день я насчитал четыре таких перерыва.

Вечером жена Ипполита Васильевича, рассматривая

мою спину, разрисованную красными полосами, ахала. Я растирал мокрым полотенцем грудь, с вымученной улыбкой убеждал ее, что молотить одно удовольствие, а сам про себя думал: «Нелегко достается хлеб наш насущный». Вот почему крестьянин никогда не бросит закостелую корку в помойное ведро, как это с легкостью делает горожанин.

И второй день наша бригада работала по-ударному, хотя и без воодушевления, третий день — с заметной ленцой, а на четвертый — она развалилась. Правда, развал этот начался со второго дня, с невыхода Лутони и председателя сельсовета. Потом забастовали ребятишки. Но и за эти три дня было сделано немало. Обмолочено и сдано государству три тонны зерна. И колхоз полностью закончил косовицу озимых. Однако колхозники посматривали на меня косо. А одна пожилая женщина резко бросила мне в лицо, что я нарочно послан к ним... Когда я об этом пожаловался Ипполиту Васильевичу, он ничуть не удивился и сказал, что так все колхозники думают.

— Почему?

— Да потому, что вы так усердно стараетесь, — простодушно пояснил Ипполит Васильевич и, вздохнув, покачал головой: — Эх, Семен Кузьмич, да колхоз выполнит положенный план. А что дальше? — И сам же ответил на свой вопрос: — Прикажут сдавать хлеб за колхоз «Рассвет», потом за «Красный партизан»...

— А вы не сдавайте.

— Нас не спросят. Не первый год так делается.

— А нынче эта практика осуждена. Сам секретарь райкома нас так заверил. Выполнил колхоз свой план — все, больше его не трогай. — Ипполит Васильевич сморщился. — В этом году такого не будет. Есть указание свыше. Выполняй план, Ипполит Васильевич, со спокойной душой. А если это повторится, то я сумею за вас постоять.

Ласточкин к моим словам отнесся настороженно и посоветовал поговорить с народом. Он собрал колхозников, я выступил перед ними, призвал выполнить первую заповедь — в срок и полностью рассчитаться с государством.

Они выслушали меня равнодушно, но и без возражений. А когда стали расходиться, громко заговорили, заспорили.

— Все они хороши.

— Ты, Ксения, язык-то попридержи.

— Судья он ничего. За нас...

Не прошло и четырех дней после этого собрания, как я докладывал секретарю райкома, что колхоз «Новая жизнь» отправил на ссыпной пункт последнюю подводу с хлебом.

Кондаков искренне поздравил меня с успехом. Но когда я заикнулся, что мои полномочия исчерпаны и мне пора возвращаться в суд, он попросил, чтобы я посидел в колхозе еще два-три дня. Я же твердо решил сегодня же вечером выехать в Узор. У меня болело сердце за мою работу. Пока я находился в районе, судил Иван Михайлович Иришин...

АВГУСТ ТОГО ЖЕ ГОДА

Третий секретарь обкома Иван Алексеевич Морев с виду нескладный, высокий и прямой, как шест. Руки длинные до колен, голова как желудь, лицо угрюмое и с таким выражением, словно у него все время болят зубы. В сущности, Иван Алексеевич — добрейшая душа, с тонким юмором, умница.

Морев является уполномоченным от обкома по нашему южному кусту, в который входит Узорский и Белебенковский районы. Южный куст, пожалуй, самый захудалый и бездорожный в области. И Иван Алексеевич прозвал его «тропиками», а обитателей — «козерогами». К своим подшефным вотчинам Морев привык и полюбил их по-своему. Дал им новые, более теплые прозвища. Так, наш район она называет «знойный Узор», а соседний — «солнечная Белебенка». Почти все лето, начиная с посевной и кончая уборочной, Морев «отдыхает» в «тропиках».

В Узорском районе считают Морева моим другом и покровителем. К сожалению, это только досужие сплетни. Когда Иван Алексеевич бывает в Узоре, то ночует в доме Васюты Косых в смежной комнате, и мы с ним долго переговариваемся через тонкую дощатую перегородку, а утром вместе пьем чай из Васютиного самовара. И когда Васюта начинает вытряхивать из самоварной трубы золу, то вместе с ней вытряхивает пыль сплетен. Но кто же подхватывает эту пыль? Кому она нужна? Вопрос сложный и неприятный.

В Узоре между райисполкомом и райкомом идет скрытая затяжная вражда. Вернее, враждуют между собой Штыков и Кондаков. Причина одна. Председатель исполкома всеми силами отстаивает свою самостоятельность.

В этой борьбе Морев встал на сторону Сергея Яковлевича, которого уважает и ценит на голову выше первого секретаря, как организатора, да и как коммуниста. Положение Кондакова незавидное, и, видимо, ему придется уйти из района. Обиженный и обозленный, он ждет случая как-нибудь скомпрометировать обкомовского работника. Иван Алексеевич это чувствует, но не боится. Ему просто противна эта мышиная возня. Поэтому Морев все время находится в Белебенке. Узор он тоже не забывает, но задерживается в нем не больше, как три дня. А то и суток не пробудет. Проедет на своем «газике» по колхозам, переночует у меня, а утром скажет:

— Ну, брат судья, пока.

— Куда же?

— Да опять туда же, в солнечную Белебенку.

— Что так скоро?

— А что мне у вас делать. Учить, подсказывать? Кого? Кому? Кондакову — не стоит труда, а Штыкову как-то совестно. Он в этих делах лучше меня разбирается. Руководители у вас настоящие, стойкие, твердые. А в Белебенке послабее и помягче...

Однажды в один из таких наездов уже ночью мы заспорили о причинах неполадок в нашем сельском хозяйстве. С некоторых пор мы стали доверять друг другу, и разговор вели прямой и откровенный. Морев всю вину валил на отсутствие в сельском хозяйстве настоящих руководящих кадров.

— Когда же мы наконец будем ценить ум и способности? Когда же наконец мы избавимся от дураков и горлопанов? — сетовал Иван Алексеевич. — Вот бы таких, как Штыков, хотя бы по человеку на район. То ли бы было. А то... — И рассказал мне о дикой глупости и самодурстве одного руководителя.

Неделю я ходил под впечатлением рассказа Морева. Он не давал мне покоя. Я не сдержал себя, сел и переложил на бумагу.

ЯБА

...В колхоз «Красные Бугры» лучше всего добираться пешком. Болото, потом лес, потом еще болотце, погрязнее и подлиннее первого, и появятся три бугра один за другим, а на них деревни: Малые Ковши, просто Ковши и Боль-

шие Ковши. Справа бугры прорезает овраг, на дне которого еле шевелится река Капуха. С другой стороны до леса тянутся поля водянисто-зеленой озими и рыжей зяби.

Жизнерадостный народ поселился на буграх. Когда была война, ковшата говорили: «Вот кончится война, тогда мы заживем».

Война давно кончилась, но живут ковшата так себе, однако не унывают. «Ничего, — говорят, — теперь-то что, выдюжим. Будет и у нас на буграх праздник».

Председателя райисполкома Филимона Петровича Стульчикова хорошо знали в Красных Буграх. А ребятишки, как увидят его длинную тощую фигуру, так и запоют:

— Яба приехал. Яба приехал...

Яба — прозвище Филимона Петровича. Прилипло оно к председателю исполкома, как чирий: хотя и не болит, но страшно мешает. Кто кличку выдумал — трудно сказать, а назвали председателя Ябой за его манеру при каждом случае заявлять: «А я бы так поступил... А я бы вот этак...» Все я бы да я бы.

Филимон Петрович был большой политик. Как увидит председатель колхоза машину Филимона Петровича на самом дальнем бугре, так сразу начинает газету рекать: Филимон Петрович первым делом спросит председателя:

— Газету читал? О чем в передовой пишут? Плохо читал. Читай еще, а потом о делах говорить будем.

Знали в Ковшах Филимона Петровича и как важного начальника. Ну а какой он был начальник? Об этом лучше всего говорит его желтый бумажник, который разбух от документов, как сдобный пирог с начинкой...

Филипп Егоров тоже своего рода начальник, только у него никаких особых документов нет. А если они ему понадобятся, то председатель напишет справку, что Егоров Ф. А. действительно является пастухом колхоза «Красные Бугры», внизу поставит подпись с закорючкой и прихлопнет печатью.

Пути к славе у Филимона с Филиппом разные. Один — председатель исполкома, другой — всего лишь пастух. Но в жизни, говорят, только гора с горой не сходятся... А вот Филимон с Филиппом сошлись.

Это случилось зимой, в январе, на общем собрании колхозников.

...Перед собранием Филипп с соседом ходили в баню, где два раза слазили на полок. Потом дома выпили по крынке крепкой браги. В клубе Филипп сидел на первой

скамейке и беспрерывно курил... Махорочный дым полз в президиум и повисал над головой Филимона Петровича сизыми кольцами.

Филимон Петрович держал речь:

— Что такое колхоз? — громко спросил он, выждал, снял очки и, описав ими круг, ловко посадил их на место. — Это, я бы сказал, боевая эскадра. А бригада,— Филимон Петрович вытянул шею и рассек пальцем колыхнувшийся дым,— это, я бы назвал,— большой корабль, кровная часть эскадры. А бригадир,— Стульчиков понизил голос и перешел на густой бас,— это командир, который выполняет одну и только единую задачу эскадры. А вот понимает ли это бригадир Ремнев? Не понимает товарищ. Он не читает газет, он не чувствует запаха сегодняшнего дня — Филимон Петрович сложил пальцы щепоткой, поднес их к носу и понюхал,— Вот утром я спрашиваю Ремнева: «Почему новую опалубку на парники не ставишь?» А он мне: «Много вас указателей найдется, а отвечать мне одному». Это, товарищи, нездоровые настроения. Я бы рассматривал поведение бригадира Ремнева,— Филимон Петрович с маху ударил по всем своим голосовым связкам,— как са ба-таж.— Он остановился, перевел дыхание. И вдруг кто-то крикнул с задней скамейки:

— Правильно делает Ремнев. Нельзя опалубку в мерзлую землю пхать. Весной расползутся парники.

Стульчиков повел очками.

— Кто сказал? Председатель, кто это сказал?

Председатель нехотя поднялся, посмотрел сначала на потолок, потом куда-то в угол и медленно проговорил:

— Ты помолчал бы, Максим, а не хошь слушать — иди домой.

— Это голос бесплатного адвоката,— пояснил Филимон Петрович,— но я и другое скажу. Ремнев плохой организатор. Встречаю я опять же сегодня колхозницу и спрашиваю: «Куда дрова везешь?» — «Домой,— говорит,— бригадир Ремнев разрешил». Вот как используются лошади в бригаде. Вместо того чтобы возить навоз, они возят дрова частным лицам.

— Не лицам, а колхозникам, товарищ Стульчиков,— резко перебил Филимона Петровича мужчина в сером полушубке. Сидел он во втором ряду на краю скамейки, закинув ногу на ногу.

У Филимона Петровича дрогнул подбородок, словно он прикусил язык.

— Вы, товарищ Ремнев, не волнуйтесь. Вам дадут слово — и вы расскажете, как расшатываете дисциплину, как потворствуете прогульщикам и...

— Батюшки, что ж нам теперь — замерзать с ребятишками,— раздался женский крик. Но Филимон Петрович тотчас заглушил его:

— Так вот, товарищи! Я бы заменил бригадира Ремнева, как неспособного руководителя.

Стульчиков сел. Председатель колхоза встал.

Председатель колхоза Иван Фомич отличался мягким нравом и благоразумием. Он одернул полы пиджака, взглянул на Филимона Петровича, сказал:

— Так вот, товарищи колхозники, надо кандидатурку.

Колхозники зашумели:

— Чего там кандидатуру! Не надо. Пускай остается Ремнев. Лучшего бригадира не найдешь.

— Товарищ председатель, Илья Фомич, дозволь слово,— послышался робкий голос. Филимон Петрович вытянул шею и увидел Филиппа, в шапке с завязанными ушами. Он стоял, подняв кверху рукав полушубка.

— Я туда не полезу,— махнул Филипп в сторону президиума,— я прямо отсюдова скажу. Я вот что скажу. Правду говорит Стульчаков...

— Стульчиков, — нажимая на «у», поправил Филимон Петрович.

— То есть товарищ Филимон Петрович, председатель райисполкома, — поправился Филипп. — Правильно, бригадир — командир корабля. Он должен все усмотреть, чтоб на берег не наткнуться, людей не потопить в глыбком месте и еще там чего... А вот Антон Ремнев и хозяйственный мужик, а тут-то и недодумал, не пошевелил мозгой. Опалубку в мерзлую землю совать нельзя, это факт. А только выход есть: нешто нельзя землю отогреть? А потом ты, Антон, больно прямой человек, язык у тебя как бритва. Нешто можно такие слова в глаза самому товарищу Стульчикову говорить? Начальство все-таки... Вот что я скажу, — Филипп сел, руки у него задрожали, а лицо побагровело от волнения.

— Правильно, правильно товарищ выступает, — скороговоркой заметил Филимон Петрович и потер ладони.

Однако после выступления Филиппа никто не называл имени нового бригадира. Колхозники сердито шумели, в углу ребята рассказывали анекдоты про Стульчикова, а девчата давились от смеха.

Тогда опять встал Филимон Петрович.

— Товарищи, мне ясно, что вы затрудняетесь подобрать бригадира. А я вижу его. Я бы вот кого рекомендовал, — и Стульчиков ткнул пальцем в сторону Филиппа. — Вот он — умный русский колхозник.

— Он у нас пастух, — возразил председатель колхоза. — Не справится он...

— Нельзя Филиппа. Такого пастуха упускать? Кому скот оставить? — загудело собрание. — Ремнев — хороший бригадир...

— Пастух! — воскликнул Филимон Петрович. — Что такое пастух? Это фигура, это своего рода тоже организатор. Нам нужно смело выдвигать способных людей на ответственные посты. Вы слышали, как он сказал? Отогреть землю. Просто и умно. Вы здесь сто человек с председателем не додумались, а он, пастух, додумался.

Выборы прошли гладко... Поднял руку один председатель колхоза, хотя трудно понять: хотел ли он голосовать или в раздумье почесать затылок. Остальные не голосовали. Зато в протоколе записано было: «Против и воздержавшихся нет...»

А бородатый колхозник Максим Хмелев, уходя, буркнул:

— По нашему председателю — хоть черного борова бригадиром поставь, раз начальство велит.

Филипп ничего не понимал и беспокойно оглядывался. Выступление Стульчикова оглушило его, лишило языка.

Придя домой, Филипп с маху швырнул полушубок на лавку.

— Ты чего развоевался? — спросила Авдотья.

— Чего? На-ка вот, понюхай, чем пахнет, — и он сунул под нос Авдотье кукиш. — Накось, возьми меня. Кто я теперь?

— Кто ж ты? — изумилась Авдотья.

— Бригадир.

— Бри-га-дир?!

— Ну что уставилась? — вспыхнул Филипп. — Миром выбран. Сам Стульчиков рекомендовал. — И он повел перед глазами Авдотьи заскорузлым пальцем. — Сидишь тут, горшки считаешь.

Рано утром к Егоровым заявился Ремнев. Филипп только что встал и, свесив с печки босые ноги, жадно тянул из кувшина квас.

— Ты чего так рано, Антон, аль дела какие? На-ка вот прохладись, — и он протянул Ремневу кувшин.

Ремнев, прикончив кувшин, вытер рукавицей губы и сказал:

— Иди, принимай хозяйство.

— Чего, какое хозяйство? — замигал Филипп.

— Бригаду.

— Бригаду? Постой, постой, — Филипп потер лоб, подергал бороду, — так это что ж, Антон, меня и взаправду бригадиром назначили... И Филипп вспомнил о вчерашнем собрании, вспомнил и ахнул.

По дороге в правление он решил отказаться от бригадирства наотрез.

— Вот и новый бригадир — приветствовал Филиппа председатель колхоза.

Филипп снял шапку, [illegible] ее и кашлянул в кулак.

— Так что ж это, [illegible], как же так?

— Так-то, брат, [illegible] председатель, — принимай бригаду.

— Уволь, Илья Фомич, [illegible] грамотный я. Скотину пасти — вот это дело я понимаю.

— Не могу, Филипп, не могу. Так уж получилось...

— Нет уж, увольте, Илья Фомич, не совладать мне.

— Ничего, ничего, привыкай командовать, а мы поможем. Теперь слушай, какие работы твоей бригаде предстоят.

— Не иначе, как божье наказанье, — решил Филипп и пошел принимать дела...

Когда прием подходил к концу и оставалось только разобраться с конской упряжью, приехал Стульчиков. Филимон Петрович шумно поздоровался, назвал Филиппа молодчиной. Но бригадиру от этого не стало легче. Он отозвал Стульчикова в сторону и, глядя под ноги, сказал тихо:

— Эх, Филимон Петрович, не дело, право слово, не дело. Не совладать мне...

— Ничего, ничего, товарищ Егоров... Поможем. А ты газеты читай. Мы обязаны растить людей, смело выдвигать. Трудно будет — звони ко мне. В обиду я тебя не дам, — заверил Филиппа председатель исполкома.

Эту ночь Филипп не спал. Он кряхтел, ворочался с боку на бок, поминутно вставал, курил. Авдотья тоже не спала. Она то вспоминала господа, то шептала. «С ума сошел на старости лет, совсем ополоумел».

Прошел месяц. Филипп похудел, почернел и все чаще жаловался на слабость. Глядя на него, Авдотья тоже хирела. Частенько, облокотясь на сухонький кулачок, она с тоской смотрела на Филиппа, пока он, обжигаясь, торопливо ел.

— Замучился ты, Филиппушка... Плюнь ты на это бригадирство. Ничего тебе не будет.

— Нельзя, Авдотья, хозяйство бросать... Спросят с меня,— возражал Филипп и, отложив ложку, вздыхал:— Что-то долго Филимона Петровича не видно. А как приедет, так и скажу: «Делай ты со мной, товарищ Стульчиков, что хошь, а я больше не могу...»

Но Филимон Петрович не приезжал. Он в это время отдыхал на курорте, не то в Кисловодске, не то в Крыму. Икалось ли ему там — трудно сказать, только Филипп вспоминал о нем каждый день. Встав чуть свет, он бежал в избы — давать наряд. Входя в дом, старательно обмахивал веником сапоги и, кашлянув в рукав, говорил:

— Степан, надо бы сегодня навозу навозить.

А Степан отказывался:

— Не могу, товарищ бригадир, в город собираюсь — овцу продать, ребятишкам одежонку купить.

И Филипп соглашался со Степаном, что без одежонки ребятишкам холодно. В другом доме колхозница упрашивала бригадира оставить ее дома — белье постирать, в третьем — охали, жалуясь на боль в пояснице...

Потом Филипп шел в кладовую и принимался сортировать зерно. Заработавшись, он забывал о том, что надо бежать, просить, назначать и спорить.

В помощь Егорову председатель колхоза назначил Ремнева, надеясь, что он постепенно заменит Филиппа. Но нелегко было теперь и Ремневу. Ему частенько приходилось слышать: «Мы таких начальников-мочальников помахивали. Назначили нам бригадира и ладно».

На совещании или на правлении председатель старался не вспоминать Филиппа или делал это так:

— Что-то в последнее время вторая бригада начинает сдавать?

Филипп вставал и мял шапку:

— Не слушает меня народ.

— А ты построже будь. Ты не сам работай, а их заставляй... Руководи.

— Не получается у меня,— разводил руками Филипп,— совсем народ не слушается.

Как-то председатель напомнил Филиппу о парниках. И он взялся за парники. Взялся с жаром, не жалея ни сил, ни времени. Он добился того, что все колхозники-плотники были направлены в бригаду Филиппа. Он сам рубил лес, надрываясь, таскал бревна по глубокому снегу к дороге. Нередко за полночь запоздалый ковшовец слышал на улице фырканье лошади, скрип снега под бревнами и хрипловатый голос Филиппа:

— Эх, милая, давай, давай!

Радостное и в то же время тревожное чувство испытывал Филипп. Стояла оттепель, с крыш сочилась капель — это его радовало. Работы на парниках подвигались ходко — и это его радовало. Но какое-то непонятное сомнение тревожило его.

Наступил день, когда все было готово. Снег сгребли в огромные сугробы, на очищенной земле сложили кучи березовых дров. «Завтра начнем отогревать»,— улыбался Филипп и улыбался, может быть, впервые с тех пор, как стал бригадиром. Филипп еще раз обошел подготовленные срубы и присел отдохнуть на березовую чурку. Уже вечерело. Он вынул кисет с махоркой и взглянул на небо...

На западе быстро росла зеленоватая щель, расширялась, раздвигала тучу. Медленно выплыло оранжевое солнце. Лес принял резко лиловый цвет; мелкие облачка на небе окрасились: те, что были ближе к солнцу, просвечивались насквозь, подальше — горели ярко-красным огнем, а у самых дальних только накаливались края. Бездымный пожар охватил деревню Большие Ковши. Она была как раз напротив. Окна, притягивая лучи заходящего солнца, то полыхали темно-багровым огнем, то, как зеркало, отражали пурпурные отблески, то заливались мягким румянцем... Филипп словно онемел. Но вот резко оборвался последний луч, и стало вокруг серенько, и быстро потемнело. Но не так, как вчера. Небо усыпали звезды... А этого вчера не было.

— Будет мороз,— прошептал Филипп и добавил: — Большой мороз.

И мороз действительно стукнул такой, что Авдотье пришлось сходить в хлев и старой шубой укрыть теленка, а чтоб петух не отморозил гребень, она сняла его с насеста и принесла в избу.

...Утром Филипп с трудом отбил ногой промерзшую дверь.

Утро выдалось яркое и чуткое. Каждый звук: и хруст под ногою, и визг колодезного журавля, и даже поскрипывание ведер на коромысле необычно тонко и долго звенели в чуть подсиненном воздухе. Тополя, схваченные морозом, заиндевели и под белым зимним солнцем сверкали, как стеклянные... Снег кругом блестел, а на нем беспрестанно вспыхивали и гасли радужные искры. Кучки изб на буграх казались издали мухами, облепившими сахар.

Внезапно над средним бугром встали три перевитых столба дыма. На самом дальнем бугре, увидев дым, сказали:

— Гляди-ка, бригадир-то наш разошелся.

Все три дровяных кучи на парниках пылали одновременно. Около них сгрудились колхозники с лопатами. Здесь же суетился возбужденный Филипп. Он старался быть веселым, смеялся, покрикивал и, гулко стукая рукавицами, шутил:

— Эх, денек, мать честная, так денек.

Вскоре его вызвали в правление. Убегая, Филипп наказал Максиму Хмелеву командовать.

Илья Фомич встретил Филиппа с укором.

— Что ж ты, Филипп Егорович, бригаду-то распустил? И торф у тебя на поля не вывозится, и семена не сортируются. А ведь весна не за горами.

Филипп побелел и, сглотнув горький ком обиды, в первый раз в жизни выкрикнул в лицо начальства злобным тонким голосом:

— Я вам не гусь, товарищ председатель. Только гусь умеет летать и бегать.

Было уже далеко за полдень, когда Филиппу удалось вырваться к парникам. Там догорала последняя куча. Вокруг нее сидели колхозники, громко разговаривали и хохотали. Увидев Филиппа, они примолкли. Высокий парень вскочил, вытянулся, приложил к шапке рукавицу и, озорно поводя глазами, отчеканил:

— Разрешите доложить, товарищ бригадир: две кучи сгорели, ждем, когда догорит третья...

— Почему землю не роете, сукины сыны? — вне себя закричал Филипп.

Стало тихо. Бородатый Максим Хмелев сдвинул на затылок шапку с рыжим собачьим мехом и протянул по складам:

— А ты по-ди по-смо-три...

На месте сгоревших дров чернела земля. Филипп стукнул лопатой, земля зазвенела.

— Ну вот и все, — сказал Максим и посмотрел на безоблачное небо. — Солнце на ели, а мы еще не ели... Иди, иди домой, отдохни... Гусь! — Он беззлобно хохотнул, потрепал Филиппа по плечу и пошел. За ним ушли и остальные.

Домой Филипп пришел раньше обычного.

— Вздуй самовар, Авдотья, а я пока прилягу. Знобит что-то.

Но чай пить не пришлось... Филипп слег, а к ночи потерял сознание. В бреду выкрикивал: «Эх, Филимон Петрович, за что вы меня... возненавидели? ...Мороз! Мороз дело испортил».

...Еще прошел месяц. Наступил март. Бригадой теперь снова руководил Ремнев. Филипп все хворал. Он заметно ослаб и что-то новое появилось в его бесцветных глазах. Днем Филипп, вытянувшись, тихо лежал на кровати, ни на что не жаловался и все молчал. Казалось, он непрерывно и сокрушенно думает о чем-то. Изредка он поднимался, держась за стены, добирался до окна и смотрел на улицу, помимутно вытирая глаза. От яркого света глаза у него слезились.

Солнце уже насквозь прожигало снег. С крыш теперь не капало — текло. Амбар напротив окна почернел и превратился в источенный червями гриб... А еще утром он, увешанный длинными сосульками, походил на стеклянный абажур с подвесками. Вчера около тына была одна проталина, сегодня их стало три, а на исходе дня вдоль тына проступала неровная черная кромка.

— Весна, весна, — шептал Филипп, постукивая пальцами по оконной раме.

Приходила Авдотья, сажала его за стол. Руки у Филиппа дрожали, щи из ложки лились на грудь, крошки сыпались на колени, застревали в поредевшей бороде. Потом Филипп опять ложился. Иногда он спрашивал:

— А что говорят-то про меня, Авдотья?

— Все пытают, когда выздоровеешь.

— Так ли? — сомневался Филипп.

— Так, так. Вот надни председатель спрашивал. Обещал в воскресенье навестить. Антон Ремнев каждый раз, как встретимся, кланяется тебе. И другие тоже.

— Антон-то у меня когда, третьеводни был, — подумав, вспоминал Филипп. — Советоваться приходил.

— Ой, что же я забыла, — спохватывалась Авдотья, — Максим Хмель опять прислал тебе гостинец, — и она вынимала из кармана яблоко, — к чайку, говорит...

— Ишь ты, какое ядреное, — улыбался Филипп, разглядывая яблоко, а потом отдавал Авдотье. — На-ка, спрячь. Прибежит внучек, слопает.

...В конце марта Филиппа навестил Стульчиков. Авдотья нацинала лучину на растопку. Филипп, по обыкновению, лежал, подсунув под голову руки. Брякнула щеколда. В сенях загромыхали под сапогами половицы. В избу вошел Филимон Петрович. Авдотья ахнула, растерялась, стала искать тряпку — вытереть гостю хромовые сапоги. Филипп сказал негромко:

— Ладно, Авдотья, не мельтеши тут.

— Лежать, лежать, — загудел Филимон Петрович, увидев, что Филипп попытался подняться, — отдых, спокойствие — лучший доктор.

— Полегчало теперь, — вмешалась Авдотья. — А то думала — умрет он. Ведь лежал без памяти... Твердил одно и то же: «Мороз помешал...» Все с вами разговаривал, Филимон Петрович.

— Ладно, ладно, Авдотья, — опять остановил ее Филипп, — иди, занимайся своим делом.

Филимон Петрович подвинул к кровати стул.

— Видишь, не забыл я тебя, Филипп. Я бы раньше приехал, да все дела да дела. — Филимон Петрович поправил подушку и подтыкал под Филипповы бока одеяло.

— Замаялся он, сердешный, — всхлипнула Авдотья.

Филимон Петрович прошелся по избе и, заметив в переднем углу под образами вереницу почетных грамот, наклеенных на потемневшие бревна, воскликнул:

— Ба, вот так Егоров! Не просто пастух, а знаменитый пастух... Сколько же их... Две, четыре, пять... восемь, девять, — сосчитал Филимон Петрович. — Молодец. Вот так Филипп!

— Он у меня почти что каждый год получал, — проговорила Авдотья за спиной Филимона Петровича и, подойдя, ткнула пальцем в крайний листок. — Это еще до войны дали, а эту на второй год после войны уже. А вот эту позапрошлый год вы сами, Филимон Петрович, дали. Тогда вы еще в отделе были.

— Это что под Николаем-чудотворцем, — оживился Филипп, — ее с музыкой вручали, много народу было.

— Да, да, помню, помню,— подтвердил Филимон Петрович, и, скосив глаза на иконы, покачал головой.

— Место для грамот неловко ты выбрал, Филипп. Я бы не здесь повесил.

Филипп не ответил. Филимон Петрович еще раз прошелся по избе, подивился на старинные часы, которые были настолько дряхлы, что без двух гаек и молотка не могли двигаться, немножко посидел с Филиппом и стал прощаться.

— Выздоравливай, Филипп, болеть долго нельзя. Весна идет.

Филипп приподнял веки и пальцем поманил к себе Филимона Петровича. Стульчиков нагнулся. Филипп, тяжело дыша, прошептал:

— А землю-то отогреть можно было. Мороз помешал. Дюже в ту ночь большой мороз был. Насквозь проморозил землю... А вообще-то я — пастух. Чего вам взбрело тогда... Никак не пойму...

От волнения на лбу у Филиппа выступил пот.

Филимон Петрович открыл рот и выдавил одно только слово: «Яба». Больше ничего он не успел сказать. Его перебила Авдотья. Схватив за рукав, она потянула Стульчикова, приговаривая:

— Идите, идите, батюшка, на что вам больной человек.

Филимон Петрович поспешно надел шапку, толкнул дверь и, перегнувшись пополам, шагнул через порог. А вслед ему раздался сдавленный старческий смешок:

— Яба, э-эх, Яба...

Когда я прочитал рассказ Ивану Александровичу, он поморщился и сказал: «Не напечатают».

Мне очень хотелось напечататься. И я послал рассказ наложенным платежом в толстый столичный журнал. Жду ответа.

ОСЕНЬ

За окном сентябрь, ясный и тихий. Воздух чист и прохладен. Дышится легко, и дали проглядываются на редкость отчетливо. Далеко-далеко видны словно отчеканенные кромки лесов и пестрые полосы полей. Небо с двойным рядом облаком. Нижние — грязные, лохматые — плывут в одну сторону, верхние — белые с легкой синевой,

весенний талый лед, — в другую. Каждый звук долго, [illegible] звенит и откликается.

Поезд с грохотом пересек пыльную улицу Узора. Из-под колес выкатился клубок пара, скатился в канаву и запутался в сухой жесткой траве. Мне очень грустно, что ушел поезд, ушло лето, ушел безвозвратно еще год моей недолгой жизни, и еще ушла от меня навсегда Симочка. С этим поездом она приезжала в Узор. А я ее и не подумал встречать. Почему? Да потому, что приехала она не ко мне и не одна.

Но почему мне только грустно? Почему нет обиды и той щемящей сердце боли, когда от нас уходит любимый человек. Вероятно, в этом повинно время. Оно затушило образ, заморозило страсть, застудило чувства. И с горькой улыбкой я утешаю себя всем известной соломоновой мудростью: «Эх, Семен, Семен, все проходит».

Раздумываю о том, где мне ночевать сегодня. В доме колхозника или в своем кабинете на холодном кожаном диване. Новой квартиры не подыскал, да и искать не хочется. В Узоре мне осталось недолго прозябать. До перевыборов народных судей осталось ровно полгода. Думаю, что меня не будут выбирать.

«Где же мне ночевать? В кабинете или попроситься к своей уборщице в сарай на сеновал». Я так задумался, что не заметил, как появилась в кабинете Васюта и заговорила, нараспев растягивая слова и при этом широко улыбаясь:

— Это что ж такое! Его там ждут, а он сидит и не чешется. Пошел, пошел, — потянула она меня за рукав, когда я стал отказываться.— Сам ведь позвал. Так и говорит: «За стол не сяду без жильца».— Васюта оглянулась и таинственно зашептала: — Стар он для Симушки, ох, староват. Не такого я зятя-то ждала, да-а, не такого,— осуждающе посмотрела на меня, скривила рот и вытерла концом платка сухие глаза, но в ту же минуту оправилась и бойко восхищенно продолжала: — А человек-то очень хороший. Два платья мне подарил и платок пуховый. А как ее-то одел...— От наплыва чувств и радости Васюта закатила глаза под лоб и замахала обеими руками: — С достатком мужчина, из себя видный, представительный. От старой жены-то у него двое. Ну и то слава богу, хоть алиментов не платит. Ну, пошел, пошел,— и она опять потянула меня за рукав.

Что делать. Пошел. Отвязаться от Косихи было не-

возможно. Впрочем, любопытство тоже сыграло кое-какую роль.

Встреча с Симочкой меня все-таки волновала. Я не представлял себе, как мы будем смотреть друг другу в глаза, о чем говорить. Но вот мы встретились, посмотрели друг на друга и не потупились, заговорили без трепета, как будто мы только сегодня утром расстались.

Она мало изменилась, разве что слегка располнела. Но полнота очень соответствовала ее овальному с острым подбородком лицу, слегка вздернутому носу, смоляному блеску глаз. Ее длинная коса теперь была уложена на затылке в тугой узел и несколько пушистых завитков выбивались возле ушей. И вся она была какая-то светлая, насквозь пронизанная обаянием и радостью.

Она заговорила про то, без намека на волнение; глаза ее смотрели на меня без тени смущения. Понизив голос до шепота, я спросил, любит ли она своего мужа. Она не увильнула от вопроса и даже не опустила глаз и спокойно ответила:

— Люблю. Он хороший человек.

— А меня?

— Ах, Семен, ты тогда... — и, не договорив, сдвинула брови к переносице, повернулась спиной.

Есть категория людей, которые покоряют одним взглядом. Борис Дмитриевич Полютов был таким. Я люблю крупных сильных людей: и по характеру они добрее, и смотреть на них приятнее. Маленькие, слабосильные — первые задиры. Они желчны, обидчивы, властолюбивы и, как правило, считают себя умнее всех. В компании держатся заносчиво, кричат громче всех и, изощряя свой мозг, беспрерывно острят и язвят. А большие люди смотрят на них как на детей и снисходительно улыбаются. Правда, есть исключения. Но редко.

Когда мы подходили к дому, Борис Дмитриевич стоял на крыльце в шелковой рубахе с расстегнутым воротом. И разговаривал с петухом. Вернее, говорил он, а рябой, тощий, с исклеванным гребнем петух кокал и с треском хлопал крыльями и вдруг, согнув голову, перевернулся через хвост и припустился за курицей. Борис Дмитриевич хотел было припуститься за петухом, но, увидев меня с Васютой, остановился и, смущенно потирая руки, пошел навстречу.

— Здравствуйте, здравствуйте,— говорил он, подходя,— значит, вы и есть судья. Очень, очень рад. У меня был

[illegible] знакомый судья Зусин Модест Петрович, в одной квартире жили. Не знаете такого? Оригинальнейший человек. О своих подсудимых не мог без слез говорить. И давал им всем только «от» и «до». Вы тоже так судите?

Все это он проговорил быстро, но не торопясь, сочным звонким баритоном и, взяв меня под руку, повел в дом, не переставая балагурить.

— А Узор мне ваш сразу понравился. Ничего сквернее и не видывал. Фу, ну и запахи у тещи в сенях.

За столом Борис Дмитриевич полностью овладел разговором и заговорил всех окончательно. О серьезном он говорил несерьезно, а о пустяках наоборот. Судил обо всем резко, порой даже брачливо, но благодаря насмешливому тону его брань не коробила, наоборот, веселила.

За каких-нибудь полчаса он успел рассказать десяток анекдотов. Симочку они не интересовали, а Васюта не понимала, хотя и слушала их с широко открытым ртом и выпученными глазами. Полостов рассказывал их ради меня. Я терпеть не могу анекдоты, особенно если они рассказываются с целью посмешить. Борис Дмитриевич рассказывал их забавно, обязательно по какому-нибудь поводу, и его анекдоты отличались свежестью, оригинальностью.

— О боже, бывают же такие чудеса, — вздыхает он, переходя от анекдотов к дорожному приключению. — Ехал с нами в одном вагоне невзрачного вида человечишко. Сидел в уголке тихо, как мышка, сжимая под лавкой ногами какой-то мешок и пугливо озираясь. И вдруг пропал. Никто не заметил, как вышел. Да и вообще кому до него дело. Значит, приехал, если вышел. А на следующей станции в вагон вваливается наряд милиции и прет прямо в наше купе и шасть под лавку. Вытаскивают мешок, обычный мешок, в каком бабы на рынок кур возят. Вытащили, показали нам и хохочут. «Вы знаете, граждане, что в этом мешке? Триста тысяч!» Оказывается, этот тип банковский работник, вез на весь район деньги. А на станции выскочил в буфет выпить кружку пива. Пока пил — поезд ушел. Если б деньги пропали, какую бы ты финансишке статью пришил?

— Преступную халатность, — сказал я.

— А это сколько?

— Предельно — три года...

— Да здравствует правосудие! — захохотал Полостов, и все тело его всколыхнулось и тоже засмеялось, и только спокойными и серьезными оставались глаза. Как я заметил, у Бориса Дмитриевича вообще улыбались только брови и губы, а глаза, серо-зеленые, с крапинками ржавчины вокруг, постоянно были острыми и хитрыми. Выражение их менялось, когда он обращался к Симочке. Тогда в них появлялось что-то кроткое и по-детски восторженное.

Поначалу мы изучающе присматривались, обращались друг к другу на «вы», при этом зачем-то обязательно наклоняя голову, раскрашивали речь такими фразами, как: «Позвольте мне по этому вопросу высказаться» или «Как я заметил, вы очень тонко выразились» и т. п. До слез хохотали над плоской остротой. Но вскоре как-то незаметно перешли на «ты», заспорили, перебивая друг друга, под конец сыграли в шахматы и расстались наипервейшими друзьями.

Наша дружба завязалась не случайно, закономерно, из потребности общения столь близких по характеру натур. Да и с кем я мог искать в Узоре общения. С Халтуном? Или с прокурором? Разве что с Сергеем Яковлевичем. Но он постоянно занят. Полостов, как я, в Узоре одинок. Все же он счастливее меня. Около него теплая, обаятельная Симочка. Мне же вдвойне худо. Я все время чувствую вокруг себя пустоту и стужу.

Прошла неделя, и мы уже не могли провести вечер друг без друга. Правда, первые впечатления об уме, таланте его потускнели и, наконец, стерлись, но все же он приятней и интересней других.

Полостову пятьдесят лет, он полковник на пенсии. Выйдя в отставку, сразу же поступил учиться на какие-то краткосрочные курсы по подготовке учителей. Во время учебы познакомился с Симочкой. Окончив курсы, приехал в Узор, чтоб навсегда в нем осесть учителем географии в средней школе.

С первых дней преподавательская деятельность пошла у Бориса Дмитриевича, как говорят, через пень-колоду. Он решил ввести свою методику преподавания. Что это за методика, я не знаю. Но говорят, что у полковника Полостова на уроках ребятишки ходят на голове.

По вечерам мы встречались или у него дома, или у меня в суде. Как ни уговаривал меня Полостов остаться у Васюты квартирантом, я наотрез отказался и поселился

лился в суде, в крохотной комнатушке, в которой ночевала моя уборщица и сторож Манюня. Для этого мне пришлось освободить ее от обязанностей сторожа и взять их на себя. Когда я сообщил об этом по телефону своему шефу, он неодобрительно проворчал: «Мне — что, смотри сам. Как бы чего не вышло». А что могло выйти? Как сказал один старик: «Разве разумный человек по своей воле в суд пойдет? Ни в жисть не пойдет. Его туда беда с милиционером за воротник тянут».

А меня другое тянуло в дом Васюты Косых. Хотя каждый раз уходил из него разбитый и подавленный, давая себе слово больше в нем никогда не появляться.

Мне приятно сидеть в чистой, теплой, уютной комнате. От намытых полов пахнет можжевельником и свежестью. Все свои мысли и заботы Васюта сосредоточила на уничтожении в доме грязи. Она весь день скребет и чистит. Да и внешне Васюту теперь не узнать. Одевается нарядно, ходит степенно, говорит односложно: «Да», «Нет», «Ни к чему» и во всем старается подчеркивать свою значимость. Соседи называют ее теперь не Васютка Косая, а по имени и отчеству — «Василиса Тимофеевна». По вечерам она сидит на кухне и читает одну и ту же книгу: роман Елены Серебровской «Начало жизни». А зять ее в это время с судьей сгорбились над шахматами.

Полостов играет прилично, но уж очень обдумывает каждый ход. Я же передвигаю фигуры, как хорошо отрегулированный автомат. Да и как тут думать сосредоточенно. За спиной по половицам ходит босиком Симочка. Я прислушиваюсь к ее шагам и просматриваю ход пешкой. Борис Дмитриевич мгновенно выигрывает партию. Начинает другую. Симочка стоит у жарко натопленной печки, то покачиваясь из стороны в сторону, то глядит на нас подбоченясь, то поднимет руки к голове, чтобы поправить волосы и все время говорит, то смеясь, то грустно, то с какими-то тяжкими притворными вздохами. Лицо у нее раскраснелось, пышет жаром и счастьем. Меня помучивает желание схватить ее в охапку и убежать. Куда?! Да не все ли равно, лишь бы убежать с ней. Но это несбыточная мечта. Не только потому, что рядом сидит ее законный муж, а главное то, что Симочка теперь со мной слишком откровенна и спокойна.

Как-то мне посчастливилось застать Симочку дома одну. Борис Дмитриевич задержался в школе, а Васюты не было. Я страшно обрадовался и попросил Симочку по-

сидеть со мной, поговорить. Она села рядом на диван, подожгла под себя босые ноги, зябко съежилась, накрылась шерстяным платком.

— Знаете, Симочка, что... — начал я не своим, каким-то деревянным голосом.

— Что? — Это слово она не сказала. Я уловил его по движению губ.

— Что я до сих пор люблю тебя, — сказал я, стараясь придать голосу твердость.

Она подняла на меня глаза и как прежде посмотрела на меня прямо и открыто. Я тоже смотрел ей в глаза в упор и долго. Но она не отвернулась, не мигнула, у нее даже не дрогнул волосок на ресницах.

Я заговорил торопливо, сбивчиво, с жаром, что люблю ее в первый раз, а может быть, в последний. Уверял, что мне без нее и жизнь не в жизнь. Благодарно расхваливал ее мужа, что он достойнее меня во сто крат, а я так несчастлив в своей любви, что она и представить себе не может. Кончил я свой многословный монолог такими словами:

— Симочка, я тебя ни в чем не обвиняю. Я даже рад, что у тебя так счастливо сложилась судьба. Я больше тебе докучать не буду и ходить к вам больше не буду. Но знай, что я одинок, как никогда, и очень страдаю.

Но она даже не шелохнулась и не повела бровью, и на лице ее ничего нельзя было прочесть, кроме равнодушного недоумения. Я ждал ответа на свое признание. Симочка же молчала. Мне стало обидно, и я с горечью сказал:

— Я не верю, что ты любишь Полостова.

— А вот люблю, — живо откликнулась она.

Я усмехнулся.

— Раньше и мне ты говорила.

— Я и тебя любила.

— А теперь?

Она посмотрела, закуталась в шаль, сжалась в комочек.

— Ну что же ты молчишь?

— А что мне говорить?

— Раньше ты любила меня, а теперь?

Она нервно передернула плечами.

— Теперь люблю Бориса Дмитриевича.

Я уныло опустил голову и уставился в пол, как боль-

ная собака. Симочка бесшумно встала и вышла из комнаты.

...Мы играем. Симочка посматривает то на нас, то на часы, пройдет по комнате, опять остановится у печки, вся вытянется, прикрыв рот ладошкой, зевнет и как бы между прочим скажет: «Уже одиннадцатый».

В кухне на столе стоит самовар с чайником на конфорке. Борис Дмитриевич долго уговаривает меня выпить с ним стакан-другой крепкого чая. Я долго ломаюсь, а потом сажусь за стол с таким видом, словно оказываю им великую услугу. Васюта с лицом мумии наливает мне густо заваренный чай и сердито швыряет мне чайную ложку. Васюта не терпит меня, как всех своих бывших квартирантов. Раньше она уважала меня, как судью. С появлением в ее доме важного и заслуженного зятя я в ее глазах скатился до положения сторожа дровяного склада.

Когда же я не бываю в доме Васюты Косых, у меня сидит Полостов и ведет душеспасительные разговоры. Со мной он сбрасывает маску благодушия. Становится тяжелым, мрачным, грубым. Раздражается по каждому пустяку, злословит и все охаивает. В конце концов нас начинает одолевать зевота.

— Ну все, довольно. Я пошел. Будь здоров, — громко и отрывисто, словно в казарме, говорит Полостов и, стуча каблуками, уходит.

После ухода Полостова мне становится невообразимо тяжело и гадко. Словно этот разговор я не сам вел, а подслушивал его случайно у соседа через тонкую перегородку. И чувствую, как мало-помалу скатываюсь в какую-то глубокую вонючую яму. Я понимаю, что брюзжанье недостойно порядочных людей. Сознаю, что все это надо кончать. Но как?! Завтра ко мне опять придет Полостов, и все начнется сызнова.

К счастью, мы начинаем надоедать друг другу. Встречаемся все реже и реже и, наконец, от случая к случаю.

Я почти никуда не хожу. Только по утрам выползаю на рынок и раз в неделю в библиотеку. Набираю охапку книг без разбору, что попадает под руку, и глотаю, не пережевывая, почти напролет эту словесную мешанину. Сам готовлю завтраки и ужины в моей каморке на крохотной дырявой плите. Плита дымит нещадно, и моя каморка напоминает курную деревенскую баню. Тогда я вспоминаю своего заседателя Вадима Артемьевича Ухо-

рина. Сравниваю его жизнь со своей и не вижу существенных различий. Оба мы несчастны, никому не нужны, и наплевать-то всем на наше существование. Однако приготовление пищи меня не угнетает. В это время я чувствую себя человеком, занятым нужным и полезным трудом, и мне не так уж тоскливо.

Единственно, кто еще меня помнит и навещает, так это Ольга Андреевна Чекулаева. Позвонит по телефону и спросит:

— Ты еще жив, Буза?

— Существую.

— А как?

— Надо бы получше, да не умею.

— Ну так я к тебе вечерком забегу и поучу немножко.

Она приходит, сильная, здоровая, и сразу же начинает наводить у меня порядок. Закатывая рукава кофты, Ольга категорически заявляет:

— Все мужчины порядочные поросята. И образ жизни у них, как внешний, так и внутренний, поросячий.

— Вот что, голубушка, — говорю я настоятельно. — Если ты желаешь сотворить ближнему добро, то вначале сотвори его в душе. А потом принимайся за это дело с тихой радостью, без попреков и оскорблений.

Ольга Андреевна, чтоб не рассмеяться, стискивает зубы.

— Подумаешь, велика радость чистить твой свинарник.

— Оставь и уходи.

Она вспыхивает:

— Эх ты, бревно неотесанное. Другой бы на твоем месте за великую честь почел, что к нему пришла такая молодая и красивая женщина. Что улыбаешься? Может, скажешь, что я некрасивая?

Она вплотную подходит ко мне, касаясь своими налитыми грудями, кладет руки на плечи и сильно встряхивает:

— Отвечай мне, красивая я?

Глаза у нее потемнели, ноздри раздулись, дышит порывисто и вся дрожит, как необъезженная лошадь. Мне становится почему-то жутковато, я опускаю голову и бормочу:

— Красивая.

— А еще какая? — шепчут ее губы.

— Сильная.

— И ты меня боишься?

Она ждет ответа с нетерпением. Пальцы ее рук словно клещами сжимают плечо. А я стою, молчу и глупо краснею. Ольга Андреевна отходит к окну, смотрит на улицу. Видит ли она что-нибудь там, я не знаю. Скорее всего, что ничего не видит: мешают слезы. Она давно любит меня. Но я как-то странно ощущаю ее красоту и любовь. Они не вызывают у меня ни желания, ни наслаждения, ни восторга, ни страсти. Мне жаль себя, жаль Ольгу, жаль того, что мы теряем что-то важное, необходимое в жизни.

Ольга Андреевна как быстро вспыхивает, так же быстро остывает. Минутная слабость прошла. Ольга Андреевна командует и распоряжается мною, как хочет. Я таскаю ведра с водой, дрова, мусор, а она чистит, скребет, моет и делает это все с большим удовольствием.

Но вот уборка кончена. В комнате жарко и сыро, как в прачечной. Подсыхает пол, над плитой сушится полотенце. Из чайника хлещет пар, а крышка звенит, подпрыгивает.

Пьем чай долго, лениво и, разомлев, лениво, доверчиво болтаем обо всем и ни о чем.

Двенадцатый час ночи. Но мы все еще сидим. Чтоб как-нибудь протянуть время, Ольга Андреевна начинает опять уборку. Моет посуду, подметает пол и делает все это нарочито медленно. Посуда вымыта, стол насухо вытерт, Ольга оглядывается, что бы еще такое сделать, и, убедившись, что больше совершенно нечего, садится, положив на колени руки. И так, не шелохнувшись, сидит долго, мучительно долго, морщит лоб, кусает губы. Она хочет что-то сказать и не решается и ждет, когда заговорю я. А я молчу, нехотя перевертываю страницы книги.

— Знаете что? — прерывает она молчание, обращаясь почему-то на «вы».

— Что? — равнодушно откликаюсь я.

Ольга испуганно вздрагивает и говорит совершенно не то, что хотела сказать:

— Который час?

— Вероятно, первый.

— Так много. А спать не хочется, — говорит она, грустно улыбаясь, и ждет, не предложу ли я еще посидеть немножко.

А я по-прежнему молчу и по-прежнему равнодушно листаю книгу.

— Ну, я пошла.

Ольга встает, снимает с гвоздя пальто. Я помогаю ей просунуть в рукава руки и по ее грустным глазам вижу, как ей не хочется уходить. И словно в подтверждение моей догадки она, вздохнув, говорит:

— Если бы ты знал, как мне не хочется.

— Чего не хочется?

Она вскидывает потемневшие от тоски и обиды глаза и говорит, стиснув зубы:

— С утра ехать в командировку.

— Я провожу тебя.

— Зачем?

— Да так...

— Не надо. Прощай. — И хлопает дверью.

Каждый раз, уходя, она бросает мне это слово. Но я знаю, что она придет, и придет обязательно, чтоб сказать мне его еще раз. Придет, раскрасневшаяся от радости, стыда. Она разрешит, что ей приятно видеть меня, сидеть рядом, дышать вместе одним воздухом. И в то же время ей стыдно бывать у меня, оправдывать свой приход какой-нибудь очевидной ложью, вроде как: «Пришла проконсультироваться по одному юридическому вопросу». И я ее ничуть не осуждаю. Мне тоже приятно бывать у Симочки и дышать с ней одним воздухом. Правда, я не сгораю от стыда за свои визиты: я прихожу к Борису Дмитриевичу. Но все знают, что это тоже ложь. Знает и Симочка, и Васюта, и соседи, вероятно, догадывается и сам Полостов.

Однако всему есть конец. Пришел конец и этой дружбе. Она оборвалась внезапно, легко, бесшумно, как истлевший кусок полотна.

Полостов получил письмо от дочери. Она сообщала, что выходит замуж, и умоляла отца приехать на свадьбу и разделить вместе с ней ее радость. В письме так было и написано: «разделить со мной мою радость». Борис Дмитриевич читал мне письмо вслух и дважды подчеркнул эту нелепую фразу.

Мы с Симочкой провожали его. Настроение у Полостова было приподнятое, возбужденное. Статный, красиво поводя плечами, молодцевато расхаживал по перрону, Срежю брал меня за пуговицу, говорил:

— Молодой человек, вот ты не испытываешь чувства отцовства. А жаль. Чудеснейшая, изумительнейшая эта штукенция. Советую испытать. — Опять ходил, насвисты-

вая и слегка подрагивая ногой, и опять останавливался, брал меня за ту же пуговицу и со снисходительной грубостью поучал: — Запомните, молодой человек. Долг каждого мужчины быть отцом, так сказать, продлить и увековечить род человеческий. — И слово «продлить» звучало неприятно и пошло. Симочка изумленно смотрела на мужа и ничего не понимала. А он просто не замечал ее, а может быть, вообще забыл о ее существовании. И только когда подошел поезд, он вспомнил о ней, наспех поцеловал в лоб, сказал: «Не горюй. Веди себя умненько...» — вскочил на подножку и помахал платком.

Прошло дня три. Настроение все это время было отвратительное, а в тот вечер особенно. Ничего не хотелось: ни думать, ни делать.

После работы два часа провалялся на диване, читая роман Панферова «В стране поверженных». И встал только за тем, чтобы приготовить ужин. За окном зияла непроглядная темень, дул ветер и хлестал дождь. Я затопил плиту и стал чистить картошку.

В сенях под грузными шагами застонали половицы, дверь от рывка распахнулась, и через порог переступил Полостов.

— Т-с-с. Я как тать в нощи полнощной прокрался в твой дом, — прохрипел он. — А ты картошку варишь. И то дело! — Полостов засмеялся отрывисто и хрипло, как старый мотор.

Борис Дмитриевич стащил с себя пальто, бросил на диван и туда же швырнул мокрую шляпу. Он не сел, а свалился на стул и, обхватив руками голову, простонал:

— О люди, если бы вы знали, как все ужасно.

— Что случилось?

Полостов поднял на меня мутные глаза.

— Судья, ты слыхал поговорку: «Бог шельму метит».

Он хотел улыбнуться и не смог. Вместо улыбки задергались щеки, скривился рот, а глаза обозленно сверкнули.

— Ну что стоишь, смотришь?

Я поставил на стол картошку. Он выхватил из кастрюли картофелину, покидал с руки на руку, обмакнул в соль и, обжигаясь, проглотил ее.

Глядя на него, я не удержался и захохотал.

— Ты словно с голодного острова, а не со свадьбы.

— Почти двое суток не ел.

— Что так?

— Так.

— Что же случилось?

У Полостова задергались веки, но он пересилил себя, вероятно, чтоб не расплакаться.

— Бог шельму метит. Вот что случилось... Семен, ты хотел бы знать всю мою подноготную? Жизненную трагедию удачливого человека? Ну так слушай. С чего же ее начать?..

Полостов долго тер лоб, морщился и наконец заговорил, с трудом подбирая слова:

— Я, Семен, родился в семье приличной, даже, если так выразиться, и с достатком. Мой отец был инженер, железнодорожные мосты строил. Мать тоже была образованная. Детство свое я опущу. Оно было обеспеченное и неинтересное. Отец, как и все порядочные русские люди, революцию принял и приветствовал. Ну и я, конечно. В гражданскую воевал, стал красным командиром, артиллеристом. Женился на умной красивой женщине. Как она меня любила! — Полостов застонал, закачался из стороны в сторону.— В общем, это был брак настоящий. От него у меня, то есть у нас, у меня-то сейчас ничего нет, осталось двое огарков. Сейчас я их тебе покажу, похвастаюсь...

Полостов сунул руку в потайной карман, вытащил фото и подал мне. Карточка была пробита пулей. — Не правда ли, славные ребятишки, — пробормотал он, вытирая слезы. — Старший сын Андрюша, младшая — Ирочка. Сам фотографировал. Андрей ужасно не любил сниматься. Уговорили. Волосы стояли у него, как у ежа, а щеки от слез были красные и мокрые. Ирочка стояла рядом в белом платьице, серьезная, с вытянувшимся личиком. Я все просил ее улыбнуться, но у нее никак не получалось. А все-таки неплохо вышли, как живые. — Полостов отобрал у меня фотографию и, долго глядя на нее, глубоко вздохнув, повторил: — Как живые... Жаль, что пуля фото попортила.

— Где же она была?

— У сердца.

— И ты остался жив?

— Пуля в ребре застряла.

— А потом?

Полостов посмотрел на меня неприязненно.

— Ты меня не торопи и не сбивай с мысли. Я и сам собьюсь. О войне я тоже опущу. Хотя она во всем и ви-

новата. То, что у меня там на фронте были женщины, ты не удивляйся, у многих и много их было. Но все они для меня были как снег: прилипали, таяли и испарялись. Но одна на меня свалилась, как глыба, и придавила. Из-за нее я потерял жену, детей. Ужасно вредная и подлая скотина попалась. Когда я ее бросил, она столько на меня грязи вылила, что мне ничего не оставалось делать, как уйти из армии. Я бросил службу, бросил стерве квартиру и явился с повинной головой к Наде, то есть к Надежде Семеновне. А ты знаешь, как она меня приняла? Ужасно! Словно ей покойника в дом втащили, — Борис Дмитриевич схватился за волосы и замотал головой. — Стою, молчу, не смею чемоданы опустить на пол. А она, Наденька, даже не смотрит на меня. Повернулась спиной, глядит в окно. Словно она за столько лет одна не нагляделась. Потом повернулась вполоборота, чувствую, хочет что-то сказать. На шее, худенькой, тонкой, часто бьется синяя жилка. И такой она мне в эту минуту родной, желанной показалась, что у меня потемнело в глазах. «Пришел?» — спрашивает. «А что делать», — прошептал я и чуть не заплакал. «Зачем?» И вот тут я, видимо, дал маху. Заулыбался, как идиот, и говорю: «Былые радости, уснувшие печали опять в душе моей, как прежде, прозвучали». Хотел мило пошутить. А получилось глупо и пошло.

Я не утерпел и спросил:

— А что она?

— Как что она? — недоумевая, переспросил Борис Дмитриевич.

— Что тебе жена на это сказала?

— Она вообще ничего не сказала.

Плечи у него обвисли, подпирая рукой голову, вытянув нижнюю губу, он уставился в одну точку.

— Ты, наверное, думаешь, что я совсем детей бросил. Нет! Никак нет-с-с. Детей я не забыл и не забываю. Помог сыну институт кончить и дочери тоже. Каждый месяц высылал им деньги, и немалые. Ты мне не веришь? Да у меня ворох этих квитанций.

— Дело не в них. Квитанции — очистки твоей совести, — сказал я.

Но Полостов опять отмахнулся от меня и, все больше возбуждаясь, стал доказывать мне свою порядочность, честность.

— Я старался делать для них все. Они же как со мной рассчитались? Сын от батьки отказался и видеть не хо-

чет. А дочь? — он горько усмехнулся. — На свадьбу пригласила. А зачем? Чтоб поиздеваться. Пусть я плохой отец, но все-таки отец.

— Что же произошло-то? — поинтересовался я.

Полостов не обратил на меня внимания и продолжал:

— А с какой радостью я ехал на эту свадьбу. Последний раз поцеловал Ирочку, когда ей было одиннадцать лет. Это было очень мягкое, теплое и невообразимо милое существо. И вот она уже невеста, как-то она встретит старого, давно забытого батьку. Мне было одновременно и страшно, и радостно. Признаться, я опешил и едва устоял на ногах, когда пышная красавица с весьма развязными манерами повисла у меня на шее. Но я узнал свою дочь, как узнают звери своих детенышей. Она жадно схватила мои подарки, кое-как поцеловала и убежала к жениху.

А свадьба была ничего, веселая была свадьба. Все говорили, и никто никого не слушал. Много пили, пели, кричали «горько», и я тоже пил и кричал «горько», и мне действительно было очень горько... — Все время он говорил, опустив голову, а когда кончил свой рассказ, поднял. — Судьба шельму метит. Запомни это, Семен, заруби на носу. Твори в жизни только благо. И начни это дело сейчас же, немедля. Оставь меня у себя на ночлег. Никто не знает, что я вернулся со свадьбы. Я ведь прямо с поезда к тебе. Чтоб никто не видал, огородами, задворками пробирался. А завтра утром явлюсь, и все будет в порядке. И еще прошу тебя, никому и ничего не рассказывай. Впрочем, это дело твоей совести...

Теперь мы не бываем друг у друга. Не только потому, что это мое желание, но и сам Борис Дмитриевич уже не тот Полостов, моложавый полковник, каким он явился в Узор. Учительствовать бросил. Живет по-стариковски: тихо и разумно, никуда не ходит, ни с кем не знается. На глазах жиреет, дышит тяжело и все чаще откидывает назад голову. Утром Полостова можно встретить с женой на рынке. Идет важный, солидный, с сознанием своего превосходства. И все уступают ему дорогу. О мясе, луке, картофеле толкует так, как будто всю жизнь только и занимался сельским хозяйством. Проходя мясной ряд, тычет пальцем, спрашивает: «Сколько?» — и, не слушая ответа, идет дальше. Выбрав кусок, тщательно ощупывает, обнюхивает и скаредно торгуется.

Иногда встречаю Полостова в березовой рощице, око-

ло больницы, на берегу реки. Каждый вечер он ходит туда с женой прогуливаться. Делаем вид, что необыкновенно рады видеть друг друга, неестественно громко хохочем, хотя говорим о самых обычных, серых и скучных вещах. Приподняв шляпу, Борис Дмитриевич желает мне «здоровья», поворачивается спиной и, осторожно ставя ноги, словно боясь оступиться и попасть в яму, уходит. Рядом с ним, прижавшись к рукаву, словно внучка к дедушке, плывет Симочка. Она тоже изменилась. Ее дивные милые глаза округлились, словно от испуга, они теперь не вспыхивают, не гаснут, они очень равнодушны, смотрят, да и только.

Полостовы бродят меж белыми стволами берез, как тени, и, наконец, исчезают. А я иду к реке, выбираю сухое место, усаживаюсь поудобней и долго смотрю на темную холодную воду. В ней отчетливо отражается рыжая, шершавая осина, осеннее с голубыми проталинами небо, кровяные ягоды бузины, голые серые ольхи, тянутся бесконечно желтые березовые занавеси.

Налетевший ветерок поднимает рябь. И все сольется в один пестрый, яркий вертящийся клубок. Но вот ветер стих. И опять все стало на место.

Поднимаю голову. Все то же, что и в реке, только во много раз огромнее, светлее и проще.